

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

## ОБИТЕЛЬ

РОМАН

\* \* \*

Смерть к Артёму не пришла: Ксиву и Шафербекова отправили на ночные работы, Крапин не соврал... Блатные из их угла несколько раз поглядывали в сторону Артёма.

Он долго ждал их — кажется, пока не рассвело: боялся, сжимал челюсти, представлял, как заорёт, если подойдут... или начнёт метаться по нарам, всех топча и забираясь под чужие покрывала...

...давил клопов и всякий раз думал: и тебя вот так, как клопа... и тебя вот так же...

...иногда забывался, в голове что-то падало, взвизгивало, орали чайки прямо над головой.

От кашля или скрипа нар вздрагивал, просыпался, весь вспотевший, но никто не стоял рядом, никаких чаек не было, только храп и скрип зубовный.

“Надо гуся себе завести, — думал Артём; мысли были медленные, будто он шёл по грязи, и каждое слово нужно было, как ногу, из тягучей жижи извлекать. — Завести себе гуся... Привязать на верёвочку... Придут резать — гусь загогочет, забьёт крыльями... всех разбудит”.

Под утро Хасаев начал гроыхать чаном в тамбуре для дневальных, и это саднящему от ужаса и усталости рассудку показалось успокаивающим: ну, раз грохочут чем-то — что теперь случится? Ничего... Разве нужно дневальным, чтоб кого-то зарезали? Совсем не нужно...

Только здесь он крепко заснул, и приснилось ему, что он снова в ИСО у Галины и всё подпisał.

И так легко на душе, так славно...

На утренней поверке Артём стоял чумной. Звуки доносились искажённые, словно издалека, как под водой. Люди ходили мутные, воздуха снаружи не было, только внутри. Того и гляди, осоловелая соловецкая рыба проплывёт меж ног.

Рыба действительно появилась.

Вывели перед строем вора, укравшего селёдку из кухни. Наказание, наверное, придумал Кучерава, исполнял его Сорокин: провинившегося били се-

лѣдкой по лицу. Он не вырывался, терпел, только закрывал глаза. После третьего удара щека начала кровянить.

Артѣм отчуждѣнно и без жалости думал: “А вот если б предложили вместо того, чтоб резать меня, бить селѣдкой ещё два с половиной года? Я бы согласился. Подумаешь: бить селѣдкой”.

— Селѣдку-то выбросят или в суп кинут потом? — спросил кто-то рядом.

На разводе появился незнакомый, крепкий, молодой мужик в очках. Во время экзекуции он смотрел в сторону, иногда трогал очки: похоже, ему всё это не нравилось.

После традиционной малоумной матерщины, которую проорал Кучерава, дали слово незнакомцу.

— Меня зовут Борис Лукьянович, — сухо и не очень громко, но басовито сказал он. — Я занимаюсь подготовкой лагерной спартакиады, посвящённой очередной годовщине Октября. Меня интересуют те, кто всерьёз занимался спортом: бег, прыжки, плавание, бокс, гири, футбол.

— Бег через границу принимается? — спросил кто-то. Раздался хохот.

— А плавание за баланами? — спросили в другом месте. Заржали ещё веселей.

— А комариков считать — это спорт или частное увлечение?

Всем было очень смешно.

“Вот оно”, — понял Артѣм. Шагнул из строя:

— Я!

— Встать в строй! — прошипел Бурцев.

Артѣм не двинулся с места: не заметят ещё, а надо, надо, надо, чтоб замечали, позвали, спасли.

“Зови меня скорей, эй, в очках! Я буду прыгать для тебя во все стороны! С мячом на голове и с гирей на ноге! Ну же!”

Борис Лукьянович что-то шепнул Кучераве.

— Сюда иди! — ткнул Кучерава толстым и гнутым пальцем в Артѣма. — Смотри, если набрехал! — И, уже обращаясь ко всем, добавил: — Все самозванцы получат трое суток карцера!

Борис Лукьянович нахмурился: слова про карцер ему тоже показались неуместными.

Теперь Артѣм смотрел на строй, поймав себя на мысли, что с этой стороны роту никогда не видел.

“А приятно так стоять...” — думал Артѣм удивлённо. Ему немедленно понравилось чувствовать себя начальством.

Афанасьев улыбался и подмигивал Артѣму.

“Вот так, Афанас, а фокусников и картёжников сюда не берут”, — с ироничной мстительностью размышлял Артѣм.

Увидел Щелкачова и добавил: “...и шахматистов, Митя, тоже!”

Фельетонист Граков перетапывался, по всей видимости, пытаясь вспомнить какой-нибудь вид спорта, которым он когда-то занимался, но странным образом позабыл об этом. Бокс? Нет, точно нет. Гири? Объективно нет. Плавание? Вряд ли. Футбол? Даже не видел, как это выглядит. Может быть, прыжки? Но что это за прыжки? Как их совершают?

Схожие чувства переживал Моисей Соломонович, который уже пытался прорваться в артистическую роту, и вроде бы его готовились перевести, но всё ещё раздумывали. Теперь он решал вопрос, плыть или не плыть — да и плавают ли на спартакиадах, да и годовщина Октября — далеко ли в октябре уплывёшь?

Сивцев стоял понуро и отстранѣнно, словно и не понимал, о чём речь: он даже не смеялся, когда балагуры горланили про бег и баланы.

Нашлось всего трое желающих — видимо, угрозы Кучеравы повлияли.

Сразу после развода вызвавшиеся отправились с Борисом Лукьяновичем на проверку спортивных навыков.

Артѣм чувствовал не волнение, а совершенно неуместное безразличие. Отчего-то он был уверен, что его возьмут. Дышал через нос, размазывал комаров по лицу, шѣл, глядя себе под ноги.

Совсем мальчишкой Артём недолго занимался боксом: около трёх месяцев. Вообще у него получалось, но тут всю началась война... Много чего началось.

Не имевший никакой предрасположенности ни к рукоприкладству, ни к подавлению тщедушных и робких, Артём тем не менее был самым сильным в своём гимназическом классе, лучшим на брусьях и турнике и порой несколько даже бравировал своей природной ловкостью и умением метко, с оттягом бить в зубы, сшибая с ног.

При этом разозлиться как следует никогда не умел. После гимназии драться приходилось куда реже.

Его однажды, лет в девятнадцать, двое, немногим старше него, пытались ограбить — снять пальто. Артём прикинул шансы и благоразумно решил убежать. Рванул сначала резво, но пальто пугало ноги, мешало бегу, и вдруг он развернулся и с такой силой ударил первого, нагонявшего, что показалось — у того лопнула щека.

Вроде бы не должно было такого случиться, но Артём так убедительно и чётко это видел, что сам испугался и побежал вдвое быстрее.

Ещё он подрался, когда подрабатывал грузчиком. Там был дядька, тоже грузчик, вдвое больше, и он бы Артёма прибил, когда б не был сильно пьян и оттого неряшлив в замахе. Артём сбил о него кулак до крови, но, надавив дыханье и умаявшись, всё же победил... На работу, правда, не пошёл больше. И так собирался бросать это занятие, а тут ещё с этим бугаём разбираться заново. Хотя в сравнении с тем, что теперь творилось вокруг Артёма, тот случай казался совсем смешным.

В общем, послужной список выглядел не очень убедительным, но не мешал Артёму оставаться сейчас спокойным.

Вот только он не спал. И ещё этот шрам на виске. Если попадут — и он снова разойдётся? Примут его опять в лазарет? Скорей всего нет. Будет ходить с мозгами наружу, пока все не вытекут.

“А драться с кем? — размышлял Артём. — Неужели с этим в очках? Очки-то он снимет? Хорошо б он вообще не видел без очков”.

Спортивную базу решили устроить за монастырём. Возле нового, длинного, ещё без крыши амбара имелась поляна, вроде бы пригодная для игр с мячом; чуть поодаль врыли турник... Собственно, это было всё.

Работали строители — естественно, лагерники: двое — внизу, подавая доски, двое принимали наверху. Десятник, притащив себе откуда-то сена, полёживал внутри амбара и наблюдал. В руках у него был кий, сломанный посередине.

— Здесь будем... — сказал Борис Лукьянович, близоруко осматриваясь: у него с собой была папочка, положить её было некуда.

Он присел на корточки и переписал себе в захватанную грязными пальцами ведомость всех приведённых из двенадцатой роты. Артём заглянул в список — там уже было фамилий тридцать или около того.

— С кого начнём? — спросил Борис Лукьянович и сам тут же выбрал, кивнув Артёму: — Давайте с вас... Говорите, занимались боксом? Насколько серьёзно?.. Впрочем, сейчас увидим... Пиджак, наверное, надо снять? Боксёрских перчаток у нас нет, зато я нашёл вот такие замечательные варежки... Примеряйте. Хорошо? На варежки, в свою очередь, мы приспособим... рука-ви-цы! За неимением спортивного — рабочий инвентарь, хо-хо.

“Какой интеллигентный человек, неужели он сейчас будет меня бить по лицу? — с доброй насмешкой думал Артём. — Раз рабочий инвентарь, дал бы мне черенок от лопаты, всё фора была бы...”

Единственное, что Артёму всерьёз не нравилось, — так это навязчивое внимание строителей, забросивших свою работу и о чём-то пересмеивающихся.

— А что, у вас простой? — спросил Артём десятника: с недосыпа он часто вёл себя как подвыпивший.

— Занимайся своим делом, у них перекур, — ответил десятник недовольно.

— Не обращайтесь внимания, — сказал Борис Лукьянович тихо. Он вообще настроен очень приветливо и добродушно, но чувство веского достоинства слышалось за каждым его словом. Артём уважал таких людей.

— Прямо здесь будем? — спросил Артём, когда Борис Лукьянович, тоже надев варежки, а на них рукавицы, бережно снял этими лапами очки и передал их стоявшему рядом лагернику из двенадцатой, выдавшему себя за бегуна и прыгуна.

— Можем выйти на улицу, — сказал Борис Лукьянович, с костным хрустом разминаясь.

Хруст был впечатляющим.

“Если он так хрустит, — зябко подумал Артём, — можно представить, какой от меня сейчас хруст будет стоять”.

Для виду он поскакал на одной ноге, на другой, сразу понял, что его слишком качает, и начал разминать себе шею и голову, будто пытаясь её выкрутить или вкрутить.

“Надо было за бегуна себя выдать, — подумал напоследок Артём. — Хотя бы не стали бить по голове...”

Борис Лукьянович повёл бой неспешно и бережно, только намечая удары. Через полминуты Артём уже успокоился, а через минуту подумал с некоторым раздражением о противнике: “...Так уверенно ведёт себя, словно и подумать не может... что я могу его сбить...”

Неожиданно для себя Артём перешёл в наступление, был встречен прямым в голову, но не унялся и, настырным рывком сблизившись, провёл “двоечку”.

Борис Лукьянович не шелохнулся, а, напротив, с довольной улыбкой кивнул: продолжайте, продолжайте, очень неплохо.

Минуты через три Артём начал уставать.

— Много суетишься, — сказал Борис Лукьянович, по-прежнему стараясь находиться в обороне и предоставляя Артёму поработать самому.

Лагерники, работавшие на крыше, чтобы лучше видеть поединок, переползли поближе.

Понимая, что сил хватит ненадолго, Артём начал откровенно осаждать Бориса Лукьяновича; тот же двигался мягко, руки держал высоко у лица, призывно выглядывая в щель между мощными кистями...

“...Да как же тебя... — повторял Артём, — ...да как же тебя достать... да как же... тебя бы...”

Потом воздух в грудной клетке Артёма исчез, и образовалось огромное душное облако, заполнившее разом все внутренности. Артём смотрел вокруг глазами, полными слёз, и, раскрыв рот, мучительно ждал, когда же ему, наконец, вздохнётся.

Он пропустил всего один, очень короткий и совершенно незаметный удар в солнечное сплетение.

Двое лагерников, смотревших бой, теперь смеялись, а Борис Лукьянович вообще куда-то пропал.

“Надо мной? — подумал Артём с медленной и душевной тоскою. — Неужели я так смешон?...”

Он нашёл в себе силы чуть разогнуться и посмотреть в сторону смеющихся. Нет, дело было не в нём, слава тебе... В тот момент, когда Артём пропустил удар, лагерник, сидевший на краю стены, не удержался и упал вниз прямо на десятника.

Борис Лукьянович сразу бросился к ним, испугавшись, что десятник задавлен... но всё обошлось.

Станным образом вместе с воздухом к Артёму возвращался и слух — десятник страшно матерился, — и почему-то обоняние: пахло свежеструганой доской, а раньше и не заметил, — и даже рассудок: он вдруг понял, что Борис Лукьянович, отвлекшись на падение лагерника, не заметил, в каком плачевном состоянии находился Артём, прямо-таки убитый в грудь.

— У вас что на виске? — спросил Борис Лукьянович, вернувшись; дыхание у него даже не сбилось. — Шрам? Недавний? Ну, ничего, подживёт за полтора месяца. Я старался не бить туда.

“Ты вообще старался не бить”, — благодарно подумал Артём.

Борис Лукьянович сбросил рукавицы, снял варежки, махнул другим кандидатам: пойдёте теперь вы.

— А мне? — спросил Артём, поспешно сдирая с себя потные варежки и всё ещё не находя воздуха в достаточном количестве. — А что я?.. Можно, я с вами пока побуду?

— Отчего же “пока”, мы вас берём, — бросил Борис Лукьянович, выходя на улицу. — Придётся, конечно, поднатаскать, — добавил он, оглянувшись: — Природные навыки есть, а профессиональных умений — чуть меньше.

“Чуть меньше” он сказал в том смысле, что вообще нет”, — сразу догадался Артём, несмотря на это понимание, в один миг ставший счастливым до такой степени, что ему ужасно захотелось выкинуть какое-нибудь нелепое коленце.

Десятник всё матерился и даже порывался драться, но упавший лагерник от греха подальше забрался снова наверх и там переждал.

Артём поспешил было за всеми смотреть на бегуна или прыгуна, но вдруг вспомнил, какую он себе радость припас. Как знал!

Раздавая посылку, он так и не решился отдать шматок сала, горчицу и лимон. Какое б ни было у него состояние по возвращении из лазарета, сколько бы ни готовился он умереть, а на эти яства рука не поднялась: спрятал в шиджак.

Он уселся возле стены амбара, сплюнул раз длинную слюну, сплюнул два... и, глядя на солнце, начал кусать, яростно надрывая жёсткие волокна, сало и заедать его лимоном. Горчица раскрошилась в кармане, и Артём иногда залезал туда пальцами, возил рукой и облизывал потом всю эту горечь, и снова выжимал лимон в рот, и рвал сало зубами.

Смотрел всё это время вверх, в небо, щурился...

Как солнце себе выдавил в рот: кислое, сальное, горчичное.

\* \* \*

— Жить будете в келье, — сказал Борис Лукьянович. — На занятия приходите сами, без десятника — десятников нет. Потом зарядка, и...

— А сегодня можно?

— Что?

— В келью?

— А когда же?

Артём даже не пошёл в двенадцатую за вещами: решил, что дождётся, когда Василий Петрович будет возвращаться со своего ягодного наряда, и попросит его принести.

Происходящее с ним нельзя было спутнуть.

Первые полчаса от Бориса Лукьяновича Артём не отходил ни на шаг: тот словно стал зарокотом его чудесного везения. Тем более что других двоих из двенадцатой Борис Лукьянович отправил обратно в роту: “Как только будет нужно — вас вызовут”, — сказал он, и ему эти дураки вроде бы поверили, зато Артём всё понял и поймал себя на том, что испытывает тихое и самодовольное злорадство: а меня взяли, а меня взяли!

Пока Борис Лукьянович осматривал амбар и долго, покусывая губы, пересчитывал записанных в его ведомости, Артём повисел на турнике, хотя никакого желания к тому сейчас не испытывал.

“Веду себя, как будто мне четырнадцать лет, и я пытаюсь прикадрить девушку”, — думал Артём, дожидаясь, когда в проёме дверей мелькнёт Борис Лукьянович, чтобы с раскочки, рывком оседлать турник — он когда-то умел делать такую штуку.

Кисти вскоре заныли, просто висеть стало невозможно, пришлось оседлать турник, не дожидаясь внимания спортивного начальства.

“А ведь он такой же лагерник, как и я, — подумал Артём, спрыгивая с турника. — Как, интересно, ему доверили всё это...”

Руки пахли железом, салом и горчицей.

Пока Артём облизывался, как кот, — щёки приятно и сладостно горели от лимона и свиного сала, — едва не упустил Борис Лукьяновича, напавшего по своим делам дальше.

При всей своей человеческой привлекательности Борис Лукьянович, кажется, был не очень разговорчив и минуты через три бросил быстрый и задумчивый взгляд на поспешающего следом Артёма.

“Он может подумать, что я стукач, и отправить меня обратно в роту”, — подумал Артём с таким отвратительным, удушливым страхом, какой не испытывал, кажется, даже от угроз Ксивы и Шафербекова.

Но куда было деваться?

Они остановились у входа в Троицкий собор, где располагалась уже знакомая Артёму тринадцатая рота. Борис Лукьянович, видимо, пришёл сюда в поиске очередных счастливых: как раз подходило время обеда.

— Вы можете пообедать в своей роте, а после отправиться обживать новое жилище, — сказал Борис Лукьянович строго.

— А меня туда пустят? — спросил Артём.

— Чёрт, действительно, — ответил Борис Лукьянович и улыбнулся настолько мило, что Артём, если б поманили, так и бросился бы этому очкарику на шею, словно к обречённому старшему брату.

“Надо было оставить лимон и угостить его, идиот!” — выругался Артём.

Борис Лукьянович, переспросив фамилию, записал по слогам надиктованные данные в какую-то уже подписанную неразборчивым начальственным почерком бумагу и передал Артёму: “Такого-то откомандировать в распоряжение... и обеспечить вышеуказанным...”

— Будет исполнено! — громко сказал Артём, принимая бумагу, хотя ему ничего не приказывали.

— Вы всё-таки пообедали бы! — крикнул Борис Лукьянович ему вслед. — И завтра, думаю, можно отоспаться, — на этих словах Артём оглянулся. — Много дел у меня! Надо набирать состав где-то!

Келья, доставшаяся Артёму, располагалась в бывшем Наместническом корпусе на втором этаже. Строгое, белое, с высокими окнами здание чем-то напоминало Артёму его гимназию.

Дневальный на посту прилежно пояснил, куда идти.

Открыв дверь в свою келью, Артём увидел человека. Тот лежал на деревянной, грубо сколоченной, без белья кровати, положив под голову мешок с вещами. Внешний вид его наглядно свидетельствовал о том, что участвовать ни в каких соревнованиях он не может. В лучшем случае, играл в детстве с мячом в компании кузин, хотя и то вряд ли.

Чуть замешкавшись, человек сел и воззрился на Артёма — скорей с раздражением, чем с испугом.

На ногах у него были огромные, тёплые не по сезону ботинки, словно он только что пришёл с улицы, но лицо при этом было заспанное, а волосы вклокоченные.

— Вы кто? — спросил он неприветливо.

— Меня сюда определили жить, — осматривая келью — точно такую же, как у Мезерницкого, — сказал Артём, заодно заметив в руке у собеседника наполовину съеденную нечищеную морковь.

— Это кровать предназначена для моей матери, — заметил человек очень строго и даже протянул руку, как бы указывая, что даже садиться на вторую, тоже деревянную и незастеленную кровать нельзя. Только тут он заметил, что держит морковь, и попытался положить её на деревянный столик возле кровати, что удалось ему с некоторым трудом, так как морковь прилипла к ладони. Видимо, придя на обед, человек заснул с этой морковью, не успев её доесть.

“Вот как”, — подумал Артём, глядя на морковь и пытаясь понять, о какой такой матери идёт речь; впрочем, замешательство его было почти весёлым: тут явно имела место какая-то ерунда, которая обязана была разрешиться хорошо.

— А где ваша мать? — спросил Артём.

— Она ещё не прибыла, — важно ответил человек, грязной и лишкой после моркови пятернёй причёсывая свою всклокоченную гриву, отчего та ещё больше расплзлась в разные стороны.

— Может быть, я побуду здесь до её прибытия? — с улыбкой спросил Артём.

— Нет, — ответил всклокоченный. — Я знаю, как это бывает: сначала вы займёте место, а потом маме будет негде жить.

— Но у меня бумага, — сказал Артём. — И я всё-таки присяду. Мы ничего не расскажем вашей маме о том, что я сел на её кровать.

Когда Артём сел, всклокоченный немедленно встал, и вид у него был такой сердитый, словно он собирался немедленно выбросить гостя вон, что, конечно же, казалось забавным в сочетании с его вдавленной грудной клеткой и длинными, из одних тонких костей, руками.

— Да смотрите же, — сказал Артём, улыбаясь и протягивая бумагу.

Тот взял её в руки.

— Вас зовут Артём? — спросил он. — Горяинов?

— Да. А вас?

— А нас Осип, — ответил всклокоченный в крайнем неудовольствии и, взмахнув бумажкой, твёрдо объявил: — Это ошибка! Вам немедленно нужно пойти и разобраться. Сказать, что вышеприведённое заявление не соответствует действительности!

— Дайте-ка мне... вышеприведённый документ, — мягко попросил Артём, потому что Осип слишком уж широко размахивал рукой с зажатой в ней бумагой. — Я обязательно во всём разберусь, позвольте только отдышаться.

— Разберётесь? Обещаете? — спросил Осип с той строгостью, которую напускают на себя в общении с ребёнком.

— А когда приедет мама? — спросил Артём.

— Скоро, — ответил Осип и быстро добавил: — Но съехать вам будет нужно гораздо раньше, чтоб я успел, — он окинул рукой келью — четыре шага в длину, три в ширину, — всё подготовить...

— Так и будет, — пообещал Артём.

Некоторое время они пробыли в тишине: у Артёма не было вещей, и заняться ему было нечем, а уходить из кельи он не хотел.

Зато уверенно чувствовал, что в комнате есть овощи, помимо моркови на столе.

— Кажется, у вас имеется сухпай? — прямо спросил Артём. — Давайте я приготовлю нам на двоих салат, а потом вам всё верну, как только получу своё довольствие?

Осип больше для видимости задумался, подняв глаза к потолку, и, выдержав паузу, решительно ответил:

— Отчего бы нет, — и с этим выдвинул из-под лежанки ящик со съестным.

Там были картофель, крупа, солёная рыба — Осип значительно отметил, что это сазан, — морковь, лук, репа, макаронны, подболоточная мука и мясные консервы.

У Артёма даже голова закружилась.

— Я не знаю, что со всем этим делать, — вдруг признался Осип, взяв морковь в одну руку, а картофель в другую, так что напомнил Артёму монарха с державой и скипетром.

Зато Артём знал.

Вскоре Осип Витальевич Троянский громко и размашисто делился с Артёмом своими наблюдениями и выводами по самым разным поводам.

— В северо-западной части острова Белое озеро переименовали... в Красное! — Его покрытое оспинами, носатое и не очень симпатичное лицо стало вдохновенным и почти привлекательным. — Святое озеро у кремля, — здесь Осип поднимал вверх тонкий и длинный, как карандаш, палец, — называют теперь Трудовое! Постоянная путаница! Мне сложно привести в порядок свои представления об острове. Но самое важное — они! — и Осип поднимал палец ещё выше, словно пытаясь проткнуть кого-то, завис-

шего над его головой. — Они думают, что, если переименовать мир — мир изменится. Но если вас называть не Андрей, а, скажем, Серафим, станете ли вы другим человеком?

— Я Артём, — поправил Артём. Он выставил на стол грубо порезанный салат из репы, моркови и лука и начал ловко очищать рыбу.

— Да, безусловно, извините, — соглашался Осип и продолжал, время от времени облизывая губы, отчего, видимо, они даже летом у него были обветренные: — Вместо того чтоб менять названия, они бы лучше обеспечили нам питание. Вы даже не представляете, какое разнообразие рыбы можно обнаружить в этих водах. Сельдь и треска — это понятно, это и сюда перепадает, хоть и в ужасном приговлении, я ел в карантинной. Но здесь ведь водятся три вида камбалы, навага, зубатка, корюшка, бычки — поморы их называют “керчаки”, до десяти видов выюнов — редкая среди рыб живородящая форма! А ещё сёмга, два вида колюшек — трёхиглая и девятииглая... А озёра? Здесь великое множество озёр — более трёхсот! И в них водятся ёрш, карась, окунь, щука, плотва. И даже встречаются форели! И всё это можно есть! Но мы не едим! Почему?

Артём ещё не нашёл с ответом, как Осип начинал выкладывать новые свои размышления:

— Стоит задуматься, какие тут бывают миражи. Вы ещё не становились свидетелем здешних миражей? О, это удивительно! Обыкновенно невидимый, тем более с низких мест острова Кемский берег иногда появляется на горизонте и кажется близким! Небольшие острова, находящиеся на некотором отдалении от нас, порой кажутся сплюснутыми и приподнятыми вверх. А остров Кутузов порой принимает вид вообще фантазмагорического: то он видится гигантской шапкой, то грибом, то зависшим в воздухе дирижаблем!.. Стоит задуматься: может быть, и мы тоже — мираж? Вот нам с вами кажется, что мы сидим в тюрьме, а мы — жители гриба? Или пассажиры дирижабля?

— Или вши под шапкой, — сказал Артём, как ему показалось, к месту.

Но Осип взглянул на него строго и тут же расставил всё по своим местам:

— Французский геометр Монж давно уже объяснил, в чём тут дело. Причины — в различной плотности верхних и нижних слоёв воздуха и в преломляющем вследствие этого преломлении лучей света!

\* \* \*

Невзирая на объяснения геометра Монжа, Артём всё равно чувствовал себя, как в мираже. Надо было крепче держаться руками за дирижабль, чтоб не выпасть.

Оказалось, что теперь он прикреплён ко второй роте.

Василий Петрович говорил, что в ней собраны спецы на ответственных должностях, но всё обстояло несколько иначе. Помимо хозяйственников и экономистов, всё больше из числа каэров, тут ещё были научные работники — одним из них был Осип, — а также счётные и канцелярские работники из административной и воспитательно-просветительской части. Будущее спортивное празднество, как понял Артём, пустили по линии воспитания и просвещения, поэтому разномастную публику, набранную Борисом Лукьяновичем, тоже переводили сюда.

Подъём во второй роте был в девять утра.

Некоторая сложность обнаружилась в том, чтобы вечером утомонить Осипа, потому что разговаривал он непрестанно. Но в первую же ночь Артём без всяких угрызений совести заснул ровно посередине очередного монолога своего учёного товарища, а тот, кажется, ничего и не заметил.

Зато с утра Осип проснулся в натуральном страдании: казалось, что всё лицо ему замазали столярным клеем.

Артём сходил за кипятком, заодно осмотрелся повнимательней.

Келья располагалась по обеим сторонам просторного коридора. Топка, отметил Артём, была общая. Ровно сложенные дрова в нише стены, видимо, ещё монахи здесь хранили.

Возле дров стояла обувь: сапоги, ботинки, калоши.

“Здесь не воруют!” — удивлённо понял Артём.

Размеренно начавшийся день продолжился совсем хорошо.

Забегал на минуту озабоченный Борис Лукьянович и вручил Артёму на руки 8 рублей 27 копеек соловецкими деньгами. К деньгам было приложено специальное разрешение на свободное посещение магазина и выход за территорию кремля без конвоя.

У Осипа такая бумага уже была; мало того, он имел право свободного выхода на берег моря, а в пропуске Артёма значилось, что ему в такой возможности отказано.

“А мне и не надо”, — подумал Артём, разглядывая пропуск, который держал в правой руке, сжимая в левой деньги.

— Забегите завтра в канцелярию и распишитесь за всё это, — велел Борис Лукьянович, спеша дальше. — А то я всё под свою ответственность раздаю.

На радостях Артём позвал Осипа затовариться в соловецком ларьке — он располагался прямо в кремле, в часовне преподобного Германа.

Но ларёк оказался закрытым.

Тогда отправились в “Розмаг” за пределами кремля.

Артём чувствовал себя торжественно и взволнованно, почти как жених.

Казалось, что часовые на воротах должны сейчас отнять все бумаги как поддельные и отправить задержанных под конвоем в ИСО, где, наверное, Галя уже заждалась Артёма... Но нет, их спокойно и даже как-то обыденно выпустили.

“Как же всё удивительно”, — признался себе Артём, чувствуя непрерывный щекотный зуд в груди.

Даже чайки орали радостно и восхищённо.

Случалось, Артём ходил без конвоя по ягоды, но там всё равно был наряд и никому бы не взбрело в голову вместо работы отправиться по своим делам. А тут он шёл, никому ничем не обязанный и без всякого сопровождения.

Осип, кстати, совершенно не осознавал этой радости: на общих работах в карантинной его продержали всего полторы недели и тут же определили в “Йодпром” — на производство, как он пояснил Артёму, йода из морских водорослей.

Каждый день Осип отправлялся в располагавшуюся на берегу гавани Благополучия лабораторию, которую, к слову, успел разругать за отсутствие самых необходимых для работы вещей.

“На баланы бы тебя, там всё необходимое есть”, — беззлобно думал Артём.

“Розмаг” оказался аккуратной деревянной избой, стоящей на зелёной лужайке, вдали от всех остальных построек: что-то во всём этом было сказочное.

Внутри пахло, как из материнской посылки: съестным и мылом, сытостью и заботой.

Товары подавали четверо продавцов, тоже лагерников, преисполненных своей значимости, — на такую работу без хорошего блата было не попасть.

“Выбор в “Розмаге” не обескураживающий, но простой и самоуверенный, как советская власть”, — сказал как-то Василий Петрович.

Так и оказалось.

Килограмм сельди стоил рубль тридцать, колбасы — два пятьдесят, сахара — шестьдесят три копейки. Одеколон — пять рублей двадцать пять копеек, английская булавка — тридцать копеек за штуку.

Имелись два вида конфет и мармелад — тот самый, которым Афанасьев угощал Артёма. Пшеничный хлеб, чай. Оловянные тарелки, ложки, кружки. Зубной порошок, пудра, румяна, помада для губ, расчёски. Продавались также примус, печка-буржуйка, чугунок и огромная кастрюля.

В отделе одежды предлагались валенки, войлочные туфли, штаны, бушлаты, шапки и огромное количество разномастной обуви, беспорядочно сваленной в несколько ящиков.

— Приобрести, что ли, одеколон? — сказал Артём. — И мармелада к нему. Будем растираться одеколоном и есть мармелад. Как вам такой распорядок на вечер?

— Да, можно, — совершенно серьёзно поддержал его Осип. — А у меня нет денег, — быстро объявил он. — Не купите мне?.. эту... — и, почти наугад поискав пальцем, указал на булавку.

“Вот анчутка...” — подумал Артём, но купил, конечно: сам же потащил его в магазин.

Осип тут же, не глядя, положил булавку в карман.

Ещё Артём приобрёл полкило колбасы, шесть конфет и тарелку с ложкой — вчера он Василия Петровича так и не увидел.

“Надо бы купить буржуйку, — размышлял Артём и тут же сам с собой издевательски спорил: — А ты уверен, что так и будешь в келье жить? Пойдешь, мой любезный, на общие работы опять! И будешь с собой таскать буржуйку зимой в лес!”

По пути назад встретили возле кухонь троих фитилей, дожидавшихся, пока повезут на помойку объедки. Надо ж было попасть ровно тогда, когда повар выставит бак и, по сложившейся уже традиции, вернется на минуту в кухню. В это время фитили рылись в баке, находя кто капустный лист, кто рыбью голову.

Они сами были похожи то ли на обросших редким скользким волосом рыб, то ли на облезших, в редких перьях и грязной чешуе, птиц.

Артём был чуть раздосадован, что ему испортили настроение.

— Зачем они это делают? — ужаснулся Осип. — Послушайте, нужно отдать им колбасу, — он схватил Артёма за рукав. — Эти люди голодные, а у нас есть ещё.

— Да, сейчас отдам, — с неожиданной для него самой злобой вырвал рукав Артём. — Отдайте им свою булавку лучше.

— Зачем им булавка? — не унимался Осип. — Они голодны!

— Идите к чёрту, — сказал Артём и пошёл быстрее.

Через минуту Осип нагнал его.

Руку он держал в том кармане, куда положил булавку.

“Правда, что ли, хотел отдать?” — подумал Артём с лёгким презрением.

— Вы что, не видели фитилей? — спросил он, немного остыв.

— Фитилей? — переспросил Осип и, поняв, о чём речь, ответил: — Нет, почему-то мне это не попадалось.

Слово “это” прозвучало так, будто Осип вынес на своих длинных пальцах что-то неприятное, вроде детской пелёнки.

— Ну, представьте, что “это” — мираж, — сказал Артём. — По Монжу.

— По Монжу? — переспросил Осип и, помолчав, добавил: — Нет, это не мираж.

— Вы вообще почему здесь очутились? — спросил Артём быстро.

— Меня посадили в тюрьму, — объяснил Осип.

— Надо же, как, — сказал Артём.

Они уже были возле своего Наместнического корпуса.

— Эй! — позвали, судя по всему, Артёма. — Стой-ка!

Он оглянулся и увидел Ксиву, Шафербекова и Жабру, спешающих наперерез.

“Шесть рублей 22 копейки, полкило колбасы, шесть конфет”, — вталкивая Осипа в двери корпуса, перечислил Артём про себя всё то, что мог потерять немедленно.

Не считая жизни, про которую забыл.

— Вроде бы нас, — сказал Осип, чуть упираясь у поста дневальных.

— Нет-нет-нет, не нас, — больно толкая его, шептал Артём, готовый закинуть Осипа на плечо и бегом бежать на второй этаж: учёный был щедр и вообще неприятно гибок под одеждой, словно сделанный из сельдечных костей.

Наклонившись над лестничным проёмом и невидимый снизу, Артём услышал грохот дверей и тут же окрик дневального.

— Куда? — спросил дневальный, поднявшись, судя по голосу, с места.

— Вот эти двое нужны... которые прошли, — быстро и чуть шепелявя, сказал беззубый Шафербеков своим гнусным голосом.

У Артёма, как припадочное, колотилось сердце.

— За мной? — спросил Осип, придерживаемый Артёмом за рукав. — Может быть, из лаборатории?

— Стойте на месте! — шёпотом велел Артём.

— Вы откуда? — спросил внизу дневальный.

— Нам нужен Артём Горяинов, — сказал Жабра.

Артём даже вздрогнул. Узнать, как его зовут, было несложно, но он всё равно испытал краткий приступ гадливости, услышав из уст Жабры свою фамилию. Одно дело, когда эта мразь искала неведомо кого, похожего на Артёма, а другое — когда так. Ощущение было, словно Жабра поймал Артёма своими нестриженными когтями за воротник.

— Мало ли кого вам нужно, идите за пропуском, — ответил дневальный.

Артём нагнулся и увидел, как дневальный подталкивает блатных к выходу.

Будто бы зная о том, что его слышат, Жабра обернулся и крикнул:

— Никуда не денешься, понял, фраер?

\* \* \*

“О чём я думаю?! — размышлял Артём ночью под крик никогда не молкающих чаек и язвительные разговоры Осипа. — Что я веду себя, как дитя?! Я же могу пойти к Галине и наговорить про Жабру, и про Ксиву, и про Шафербекова, чтобы всех засадили в карцер... А что я могу наговорить, я же ничего не знаю? Плевать, надо спросить у Афанасьева. Или просто наврать. Наврать что-то ужасное, и эту мразь заморят в глиномялке...”

Чуть шевеля губами, Артём уговаривал себя, не слушая очередные парадоксы Осипа о скучном, ледниковом, мусорном, наносном ландшафте Соловков.

По страсти, с которой Артём убеждал себя, казалось, что всё в нём уже готово к этому шагу и с утра он немедленно отправится в ИСО...

...Но никуда Артём, естественно, не пошёл и, попивая утренний кипяток вприкуску с колбасой из ларька и морковкой из сухпая Осипа, даже не вспоминал своё ночное вдохновенное и горячее бормотание.

В десять для всех будущих стратотерпцев соловецкого спорта Борис Лукьянович проводил разминку. Затем разбивались по группам: бегуны — бежали, прыгуны — прыгали, футболисты гоняли тряпичный мяч: настоящий им пока не выдавали — он был один-единственный. Появились два борца и дюжина богатырей, набранных со всех рот тягать гири. Гирь тоже было немного, и за ними стояли в очередь, без особой, впрочем, охоты.

Помимо борцов и тяжелоесов, команда подобралась молодая, студенческая, из горожан, поэтому и обстановка была шепутной, смешливой, много валяли дурака.

Как-то улетел мяч, а мимо проходил невесть откуда взявшийся батюшка Зиновий. Ему заорали: “Длиннопольй, подай!” — но тот на мяч плюнул, и это всех несказанно развеселило. Тут же кто-то предложил ввести соревнование среди духовенства по метанию кадила — студенты снова покатались от хохота.

Артём вдруг заметил, что не смеялись только он и Борис Лукьянович.

По возрасту Артём оказался посредине остальных: все студенты были моложе него лет на пять—семь, а тяжелоесы с гирями — старше на семь—десять.

Приглядевшись, он понял, что Борис Лукьянович — тоже почти его ровесник, разве что на пару лет постарше. Впрочем, опыта общения с людьми, в том числе с большевистским начальством, у него было очевидно больше.

Артём мысленно признал верховенство Бориса Лукьяновича, но вида не подавал: держался достойно, как бы на равных, твёрдо за шаг до панибратства. Борис Лукьянович это, похоже, отметил, обратился к Артёму раз за

мелкой помощью, обратился два — Артём оказался точен, быстр и сметлив. На третий раз Борис Лукьянович уже перекинулся с ним шуткой, говоря об остальных на площадке в третьем лице. Артём шутку развивать не стал и посмеялся вроде от души, но в меру: так было надо, он это чувствовал.

“Борис Лукьянович имеет право ставить себя чуть выше остальных, а мне незачем”, — понимал Артём.

Перед обедом Борис Лукьянович ушёл, попросив Артёма последить за общей дисциплиной.

Почему бы и нет: гиревиков с борцами Артём благоразумно не трогал, а студенты сами по себе играли с удовольствием до самого обеда.

Вернулся Борис Лукьянович часам к четырём с каким-то белёсым парнем.

— Вроде нашёл тебе напарника, — кивнул он на новенького, — в карцере! На Секирку только пока меня не пускают.

“На “ты” перешёл”, — не без удовольствия отметил Артём, разглядывая белёсого: до сих пор Борис Лукьянович сказал ему “ты” только однажды, когда они дрались, но там ситуация предполагала некоторую близость.

Новоприведённый оказался на полголовы выше Артёма, в редкой неприятной щетине, напуганный и потный.

“Неужели и я так же смотрел?” — подумал Артём, брезгливо дрогнув плечом.

— А давай ты, — предложил Борис Лукьянович, протягивая Артёму рукавицы. — Что мне-то, ты у нас боксёр.

Поглядывая на противника, Артём осознавал своё превосходство. Это было малосимпатичное, но всё равно неодолимое чувство. Белёсый ведь, скорей всего, не знал, что Артём и сам здесь второй день. Напротив, он был уверен, что попал в компанию прожжённых мастеров, давно уже снятых с общих работ. Наглядный страх белёсого усиливал ощущения Артёма, и он всем своим независимым видом подчёркивал: да, мы тут веселимся, да, я нагну сейчас тебе твои ребристые бока, потный шкет.

На этот раз Артёма даже не смущало, а чуть возбуждало внимание окружающих. Гиревики первыми оставили свои гири, вскоре подошли и борцы. Футболисты ещё играли, но многие уже сбавляли бег и откровенно косились на Артёма с белёсым.

— Готовы? — спросил Борис Лукьянович.

Артём коснулся рукавицей лба.

— Висок-то ничего? — вдруг вспомнил Борис Лукьянович.

— Я буду другую сторону подставлять, — ответил Артём; Борис Лукьянович, сдержав улыбку, кивнул.

Всё произошло очень скоро: Артём пугнул слева, пугнул справа, быстро понял, что белёсый плывёт: несмотря на то, что руки держит правильно и вроде бы умеет двигаться, продолжает очень бояться. Ну, и сунул ему, при первой нехитрой возможности, в зубы, куда жёстче, чем следовало бы.

Белёсый упал.

Чайки, и так ведшие себя безобразно, тут вообще захохотали.

Один из студентов, подбежавших поглазеть, насмешливо ахнул, но другие не поддержали: белёсый выглядел весьма жалко.

Подниматься он не стал. Облокотившись на правую руку, стянул рукавицу с левой, зажав её край меж челюстью и плечом, — и тихо трогал ватной губы.

У Артёма сначала едва не свело челюсти в радостной улыбке — вот же как я! — но он быстро понял, что радоваться тут нечему.

Борис Лукьянович помог белёсому подняться.

Артём подумал, что это нужно было сделать ему.

— Ты побережнее в другой раз, — сказал Борис Лукьянович, подмигнув Артёму, и повёл белёсого в амбар.

Подмигивание немного успокоило Артёма.

“Ну, а что, — сказал он себе. — Мне сказали проверить парня — я проверил...”

Но прошло ещё десять минут, и Артём неожиданно понял, какой он крошечный дурак.

“Надо было танцевать вокруг него минут хотя бы пять, а только потом уронить! — горестно и злобно отчитывал он сам себя. — А то неизвестно, кого ещё найдут ему на смену!”

Борис Лукьянович, напоив белёсого водой и предложив ему поесть, вернулся.

Похлопал Артёма по плечу. Тот скривил улыбку, ничего не сказав.

— Поддержи очки? — попросил Борис Лукьянович и резко вклинился в ряды футболистов.

Артёму болезненно хотелось, чтоб Борис Лукьянович вместо дурацкой забавы с мячом как-то успокоил его. Но хоть очки дал, и то хорошо.

Он гладил дужку и продолжал тихо злиться на себя.

Тут примешивалось и другое, стыдное чувство: белёсого наверняка вытащили из карцера, где, как рассказывали, творилось чёрт знает что, может быть, даже из той самой глиномялки, которой пугал Жабра... У него была спасительная возможность задержаться в спортсекции — и тут Артём...

— Какая гадость! Подлость какая! — шёпотом повторял Артём, одновременно желая, чтоб белёсый доел, наконец, консервы и свалил отсюда.

“Куда? — спрашивал себя Артём. — Назад в карцер?”

Очень вовремя объявился фельетонист Граков, который непонятно когда и откуда пришёл.

— А ты что тут? — спросил Артём, спеша заговорить не столько из интереса к Гракову, сколько потому, что хотелось отвлечься. — Тоже решил податься в олимпийцы?

— Куда там, — отозвался Граков. — Я теперь по печатной части: газета, журнал...

— В “Новые Соловки” взяли? — едва ли не всерьёз обрадовался Артём, хотя с Граковым разговаривал разве что пару раз и никаких особенных симпатий к этому молчаливому и не очень приметному типу не испытывал; он чуть было не добавил: “...И Афанасьева за собой тащи, вы же из Питера оба”, — но тут же вспомнил, что они общения между собой избегали.

— Борис Лукьянович где? — спросил Граков. — Я по его душу. Готовлю статью о предстоящих соревнованиях.

— А вон, — показал Артём.

Борис Лукьянович, близоручо щурясь, высматривал мяч, это выглядело мило и забавно. Похоже, без очков он ни черта не видел на другом конце поля и определял мяч исключительно по скоплению весёлых студентов.

Студенты, ещё с утра отметил Артём, несмотря на своё серьёзное, хоть и насильно прерванное образование, умели ругаться небоскрёбным матом. Только Борис Лукьянович даже в запале игры выражался исключительно корректным образом.

— Ко мне? — он подбежал, чуть запыхавшийся и приветливый.

— Вот из газеты, — подавая ему очки, сказал Артём. — Товарищ Граков.

Борис Лукьянович посмотрел на Гракова сначала без очков, а потом в очках, как бы сверяя впечатление.

— Я пишу статью о... — начал Граков, но Борис Лукьянович тут же тоскиво скривился:

— Слушайте, я не умею. Вот Артём хорошо говорит. Скажите ему что-нибудь, Артём.

“С чего это? Откуда он взял?” — удивился Артём, впрочем, довольный. Граков тут же развернул блокнот и достал из-за уха карандаш: пришлось медленно отвечать.

— Участие заключённых в спортивных соревнованиях — это... — начал Артём очень уверенно, перевёл взгляд на Бориса Лукьяновича, тот медленно кивнул большой головой с таким видом, словно слушал и тут же переводил про себя на русский иностранную речь, — это не развлечение. Это отражение грамотно поставленной культурной работы Соллагерей. Отражение пути, проходимого исправляющимися, но пока ещё виновными членами общества.

— Вот! — сказал более чем удовлетворённый Борис Лукьянович в подтверждение и начал протирать очки майкой.

— Спорт — это очищение духа, столь же важное, как труд, — чеканил Артём, откуда-то извлекая сочетания слов, которыми никогда в жизни не думал и не говорил. — В спорте, как и в труде, есть красота. Спорт — это руки сильных, поддерживающие и ведущие слабых. Товарищ Троцкий говорит: “Если б человек не падал, он бы не смог приподняться”. Спорт учит тому же, что и Соллагерь, — приподниматься после падения.

— Ах, красота, — по-доброму ёрничая, нахваливал Борис Лукьянович. — Это просто соловьиный сад. Артём, вы могли бы стать великолепным агитатором. Громокипящим!

“Тютчева любит или Северянина? — мельком подумал Артём, чуть зардевшись от похвалы, сколь бы ни была она иронична. — Скорей, Тютчева. И Блока, конечно”.

— Подождите, — попросил Граков, заносающий в свой блокнот каракули, явственно напоминающие хохломскую роспись, но никак не буквы. — Сейчас... Да, слушаю.

Артём изгалялся ещё полчаса, пока не кончились страницы в блокноте у Гракова.

— За вами вчера приходили в двенадцатую роту из ИСО, — сказал Граков на прощанье. — Я как раз собирал вещи, чтоб перейти на новое место... Нашли они вас?

Артём смотрел на Гракова не мигая, даже забыв ответить.

Про Галю он не вспоминал целый день.

“Пора стучать, Артём, пришла твоя пора”, — пропел он мысленно и, не попрощавшись с Граковым, медленно пошёл к амбару, возле дальней стены которого в прошлый раз ел сало с лимоном, — там было отличное место, чтобы подумать, как теперь быть... Будто что-то зависело от его дум.

“Это тебе за белёсого”, — сказал себе Артём.

“Ага, — отозвался он сам себе. — А когда б не было белёсого, то и Галина бы про меня забыла... Может, спросить у неё: “А разве участники спортсекции не освобождаются от обязанностей филёра и доносчика?”” — пытался развеселить себя Артём, но всё равно было не забавно.

По пути его поймал Борис Лукьянович.

— Слушай, Артём, а ты всё равно худоват что-то, — сказал он. — Давай выйдем тебе ещё и сухпай? С завтрашнего дня? Денежное довольствие — как бойцу, а сухпай — как агитатору, верно?

Больше ни с кем Борис Лукьянович таким добрым и шутивным тоном не разговаривал.

\* \* \*

“Вчера не явились, значит, сегодня прямо из кельи заберут”, — предполагал Артём, чувствуя тяжесть на сердце.

Отчего-то вызов в ИСО пугал его даже больше, чем возможность встретить блатных на входе в Наместнический корпус.

“Оттого, что бесчестье страшнее смерти”, — патетично произнёс Артём про себя, заранее зная, что всё это глупые слова, блажь.

По дороге в кремль Артём решительно свернул в “Розмаг” и приобрёл чугунок: “...хоть покормить себя горячим перед грехонаданием”.

Деньги теперь он носил при себе — это как-то придавало ему сил: возникало обманчивое ощущение свободы и весомости.

“А начнёшь стучать, — подзуживал себя Артём, — тебе ещё один паёк назначат, третий. Всегда будут рубли на кармане. Разъешься. Станешь масляный, медленный, щекастый...”

Представил, как, икая, переходит кремлёвский двор, жирный, что твой эппман; стало чуть забавней на душе.

На главной кухне по бумаге Бориса Лукьяновича старший повар выдал ему сухпай, да ещё с капустой, с головкой чеснока, с жирами...

Повар — нестерпимо пропахший баландой, рыбой, пшёнкой и гречкой, бритый наголо, с единственным глазом мужичина — внимательно осмотрел

Артёма, пытаясь на всякий случай понять, что за тип перед ним и отчего ему нужно отдать улучшенный паёк.

Артём подмигнул повару. Как-то было диковато подмигивать одноглазому.

“Пусть думает, что я главный лагерный стукач, — продолжал Артём насмехаться над самим собою, унося паёк, — пусть догадается по моей наглой морде, что я отсидел своё и остался вольняшкой в монастыре из природной склонности к подлости и лизоблюдству! За это меня и кормят!”

Ни блатные, ни красноармейцы не ждали Артёма у корпуса.

Он спешил ко входу в свою роту так, словно о нём печалились в келье сорок ласковых сестёр... или лучше — одна, и не сестра вовсе...

“Может, Галина забыла про меня? — думал Артём, хрустя капустным листом и резво, пока никто не окликнул, поднимаясь на свой второй этаж. — Или ИСО так и не сможет меня найти? Потеряют в бумагах, подумают, что заключённого Горяинова услали на дальнюю командировку, и забудут до конца срока? Так ведь бывает?”

Он готов был поверить во что угодно, лишь бы не встретиться с этой тонкогубой тварью больше никогда.

В келье на своей незастеленной лежанке полулежал смурной Осип с каким-то учебником без обложки.

“Осип дома”, — с тёплым чувством отметил Артём, словно его учёный товарищ тоже мог служить ему защитой. Заодно поймал себя на мысли, что говорит “дома” про эту их клеть, а вот двенадцатую роту, прежний свой помойный клоповник он никогда так не называл.

— Давайте-ка приготовим щи, Осип? — предложил Артём с порога.

— Вы умеете? — недоверчиво спросил Осип, облизнувшись.

Артём умел.

Облизывался Осип только в хорошем настроении, заметил Артём. В плохом, напротив, держал рот запечатанным и сухим.

Печь в коридоре уже кто-то растопил, Артём подбросил поленьев и скорей, пока не заняли место, приспособил свой новый чугунок.

Через полтора часа всё было готово.

— Водоросли штормами выбрасывает на берег, — рассказывал Осип про свою работу, держа миску обеими руками за края, словно та могла упрыгнуть куда-нибудь. — Образуются валы в несколько километров длиной. Они все съедобны, ядовитых водорослей нет. В Англии, Японии, Шотландии из них делают много вкусного. Конфеты, варенье, бланманже.

— Так вы этим занимаетесь? — дурачился вспотевший от долгой суеты возле печки Артём, разливая щи. — Принесёте бланманже из водорослей попробовать?

— Нет, не этим... — отвечал Осип, внимательно глядя то в свою миску, то в чугунок. — Да, делаю бланманже. А ещё мороженое, квашенку, печенье. Но мы пока что занимаемся другим, ибо советской власти не до печенья. Ей нужен вышеназванный йод, чтобы залечивать свои раны.

Осип всегда острил весьма едко и совершенно без улыбки. Юмор подтверждал, что этот человек не настолько рассеян и потерян, как это могло показаться на первый взгляд.

— Помимо того, — продолжал он в той же интонации, — из йода можно делать клеящее вещество альгин, целлюлозу, калийные соли.

— Но вы пока делаете только йод? — уточнил Артём.

— Да, — коротко ответил Осип, зачерпнул ложкой щи и некоторое время держал ложку над миской, не обращая на неё внимания. — Водоросли испепеляют, выщелачивают водой и в этой воде освобождают йод от йодистого калия. Всё очень просто. Для более масштабной работы пока нет возможностей. Хотя у товарища Эйхманиса, естественно, огромные планы.

Осип, наконец, попробовал щи. Артём был уверен, что он даже не заметит, что съел, но всё случилось ровно наоборот.

— Это очень вкусно, — сказал Осип с достоинством. — Научите меня?

Артём размашисто кивнул. К нему откуда-то пришло сильное настроение.

— Большевики вообще обожают всё планировать, заносить в графы и распределять, — продолжил Осип, поднося ко рту следующую ложку. —

Это какой-то особый тип психической болезни: сумасшедшие, но подходящие ко всему строго научно.

Артём весело скосился на дверь и перевёл тему:

— Вы общались с Эйхманисом? — спросил он насколько мог просто и даже легкомысленно, чтоб настроить и Осипа на этот лад.

— Естественно, общался. И сразу потребовал от него привезти сюда мою маму.

“В тюрьму?” — хотел пошутить Артём, но не стал.

— И он? — спросил.

— Немедленно согласился, — гордо сказал Осип.

— А зачем вам мама, Осип?

— Ей без меня плохо, — ответил он уверенно, — а мне она необходима для нормальной работы.

— А как вам Эйхманис показался? — спросил Артём.

— Начальник лагеря — и, значит, подонок, иначе как бы он им стал? — ответил Осип очень просто.

— Так... — сказал Артём, подняв ложку вертикально, словно собирался ей ударить Осипа в умный лоб. — Что там ещё делают вкусное из водорослей?

\* \* \*

С утренней разминки Бориса Лукьяновича вызвали в Культурно-воспитательную часть.

— Артём, проводи? — попросил он коротко, как о чём-то само собой разумеющемся.

Дело нехитрое — провёл.

Час спустя Борис Лукьянович вернулся, но только на минуту, и попросил Артёма отследить, чтоб брусья врыли где надо, а не где попало.

Брусья вскоре принесли.

Дело несложное — проследил.

В остальное время Артём истязал себя на турнике. С баланами это всё было несравнимо.

“И не следит никто, — наслаждался Артём. — Хочу — вишу, хочу — сижу, хочу — в небо гляжу”.

Глядел он, впрочем, даже раскачиваясь на турнике, всё больше на дорогу из монастыря: не спешат ли красноармейцы из полка охраны препроводить его в ИСО, а то там Галина заждалась.

Вместо красноармейцев увидел Ксиву, который с лесного наряда плёлся под конвоем на обед в числе таких же умаянных лагерников, как и он.

Издалека было не понять, смотрит Ксива на Артёма или ему не до того.

После обеда запад спортсекции подстихал: на одном сухпае, подкрепляясь хлебом с морковью, сложно было до самого вечера задорно тягать гири и бодро бегать. Но вернулся Борис Лукьянович, и Артём с удовольствием решил, что теперь это не его головная боль: пусть старший следит за всеми и погоняет их.

Борис Лукьянович явился без пополнения, зато с доброй вестью.

— Друзья и товарищи! — объявил он. — С нынешнего дня помимо дежнего довольствия мы будем иметь ежедневную горячую кормёжку на обед!

Студенты заорали, Артём тоже не огорчился — жрать ему по-прежнему хотелось постоянно.

— Только нам его не довезли почему-то, — с улыбкой сбил настрой Борис Лукьянович. — Артём, может, сходишь, узнаешь, в чём дело?

Понадеявшись, что Ксива уже в роте и с ним удастся разминуться, Артём поспешил в монастырь через Никольские ворота — на главную кухню.

Проследовал с главного входа мимо поста с оловянным выражением лица — даже не окликнули, хотя лагерникам в рабочие помещения главкухни было, естественно, нельзя.

Старший повар шёл навстречу в сапогах, в грязном и чёрном фартуке, с топором. Артёма узнал и смотрел на него с некоторым напряжением, не моргая своим единственным глазом с выжженными ресницами и отсутствующей бровью.

Артём опять не представился, но сразу поинтересовался, в чём дело и где обед спортсекции, которая по личному приказу начлагеря готовится к олимпиаде в честь революционной годовщины? Может быть, написать докладную Фёдору Ивановичу?

Артём нарочно сказал “Фёдору Ивановичу” — так звучало куда убедительней: будто бы он только что сидел с ним за одним столом и пришёл разузнать имена и должности саботажников.

— Что такое? — прорычал повар. — Я велел!

Слова у него были будто порубленные топором, как мясные обрезки: “...шэтэ так? Я влел!”

От греха подальше Артём ушёл дожидаться на улице: вроде как в начальственном раздражении захотел перекурить.

Баки с горячим обедом вынесли через три минуты.

“В следующий раз, — отчитался себе Артём, поспешая за кухонным нарядом, — когда тебя соберутся бить блатные, Бурцев и десятник Сорокин, к ним присоединится одноглазый повар с половником и разнесёт тебе им башку, наконец”.

Площадь была почти пуста, только олень Мишка караулил кого-нибудь с сахарком, а Блэк присматривал за олешкой.

Блатные не заставили себя ждать: Артём услышал их голоса и оглянулся, они были совсем рядом.

— Я эту суку из окна заметил, — скалился рыбьими зубками Жабра. Видимо, пока Артём ходил на кухню, тот успел найти в двенадцатой Ксиву и Шафербекова. Четвёртым с ними торопился какой-то леопард, преисполненный интереса к тому, как пойманного фраера сейчас разделяют на куски или хотя бы проткнут.

— Товарищ часовой! Товарищ красноармеец! — заорал Артём, называя служивого человека “товарищем”, что было запрещено — только “гражданин”! — и побежал к монастырским воротам, слыша топот за спиной.

“У Ксивы ботинки были разваленные, ему бегать неудобно!” — успел вспомнить Артём.

Вслед им залаял, а потом и побежал, скоро нагнав Артёма, Блэк.

— Эй, не кусайся! Эй! — попросил на бегу Артём, потому что пёс нёсся ровно у его ног, скаля зубы. Зато олень Мишка никуда не побежал, но вспрыгивал на месте, подкидывая зад.

Бежавший босиком леопард нагнал Артёма почти у ворот, вцепился в пиджак, надрывая рукав.

— Чего ещё? — спросил красноармеец, не понимая, что творится. — Ну-ка, тпру все! Щас пальну промеж глаз! — Он действительно передёрнул затвор и поднял винтовку.

Остановился только кухонный наряд с баком, Шафербеков же с Жаброй и Ксивой тоже добежали прямо до поста и стояли теперь возле Артёма.

Он быстро переводил глаза с одного поганого лица на другое. Блэк крутился под ногами, коротко полаивая на людей.

— Мне надо выйти, — сказал Артём, подавая пропуск красноармейцу, и пихнул в лоб леопарда, так и не отпускаявшего рукав.

— А чего орал? — спросил красноармеец, возвращая пропуск. Артём ничего не ответил, шагнул за ворота, забрав свою бумагу, и, не глядя, сунул её в карман.

С той стороны ворот остановился и, тяжело дыша, развернулся к блатным, так и стоявшим возле поста.

Артём чувствовал, что спина его была горяча и затылок пылал, как обожжённый. Но тут же осознал, насколько забавна ситуация: он стоял здесь, а эти — там, и выйти они не могли, пропусков у них не было, даже Ксива ходил на лесные работы с десятником.

Выпустили кухонный наряд с баками, и они, настропалённые поваром, заторопились в сторону спортсекции.

— Жабра, иди сюда, — ласково позвал Артём. — Мармелада дам. Хочешь мармелада? — Он действительно достал из кармана приобретённую утром мармеладку. — Лови! — и кинул. — Смотри только, чтоб рот не надорвался опять!

Мармелад поднял леопард и тут же проглотил, не жуя.

— Ксива! — крикнул Артём. — Не ссы криво!

Вспомнил и про Шафербекова: Афанасьев на вениках рассказывал, как этот тип покромсал жену, сложил в корзину и переправил в Шемаху.

— Шафербе-е-еков! — протянул Артём. — Тебе, говорят, жена посылку прислала из Шемахи? Или жену в посылке прислали? Я так и не понял! Сходи на почту, выясни?

Жабра и Ксива стояли, раскрыв рты, вне себя от злости, у Ксивы даже нос посинел. Улыбался и щурился Шафербеков — будто Артём его слепил.

— Ну-ка, пошли вон, — велел красноармеец блатным и, оглянувшись к Артёму, добавил: — И ты шлёпай отсюда, потешник.

Блатные отошли и сели возле монастырской стены.

“Получше тебе, блудень соловецкий?” — спросил себя Артём, подрагивая от удовольствия, словно ему красивая, сисястая девка с длинными крашеными ногтями почесала спину и подула на шею.

“Ещё бы! — ответил себе же взбудораженно. — Только как я пойду назад? Не просить же красноармейца препроводить меня до кельи?”

Он поймал и раздавил пальцем большую каплю пота, скатившуюся из-под волос по лбу.

Навстречу спешил Борис Лукьянович; от нечего делать Артём его подробно рассматривал: брюки клёш, тельняшка, весь полный сил, плечи бугрятся, шея кабанья, уши, как у всех здоровых людей, маленькие.

— Слушай, ну! — начал Борис Лукьянович ещё за несколько шагов. — Я на тебя прямо-таки люблюсь! Обед, вижу, несут бегом! Что ты им сказал такое на кухне?

Не отвечая, Артём ждал, когда Борис Лукьянович поравняется с ним, и только улыбался.

— Искал тебя, отлично, что нашёл, — сказал Борис Лукьянович, подойдя и не замечая некоторой взвинченности в лице Артёма, зато обратил внимание на другое: — О, у тебя рукав надорван... Смотри, сейчас будет совещание у Эйхманиса. Скажу, что ты мой помощник, и вместе зайдём, да? Ты хорошо говоришь. Вступишь, если возникнет необходимость. Тем более что там Граков будет всё слушать опять и записывать. Так что нужны правильные речи. Я их не умею.

— И я не умею, — ответил Артём, толком не успевший успокоиться после случившегося.

— Ты всё отлично умеешь! — убеждённо сказал Борис Лукьянович. — Без обеда перетерпишь? Я тоже голодный. А после совещания сразу пойдёшь отдыхать.

Артём понадеялся, что блатные ушли, но нет: так и сидели там же. Вскинулись удивлённо, леопард встал и почесал в промежности.

— Чего, опять назад? — спросил красноармеец Артёма. Поискав, Артём нашёл в кармане пропуск, весь в горчице и солевых пятнах.

— На суп его можно пустить, — сказал красноармеец, возвращая бумагу.

Вздохнув, Артём шагнул за Борисом Лукьяновичем. Блатные поднялись и медленно тронулись им навстречу.

— Почему не в роте? — заорал на них вдруг налетевший, как вихорь, Бурцев. — Наряд отменили? Здесь объявили привал? Или открыли бульвар?

Ксива при виде Бурцева сдал два шага назад, Шафербеков — один.

— Ты кто такой? — заорал Бурцев на Жабру. — Какая рота? — Жабра шмыгнул носом и быстро пошёл в сторону лазарета, напряжённый всем лицом, будто пересчитывая зубы во рту.

Ксиву с Шафербековым Бурцев так и не тронул, а на леопарда замахнулся стилетом:

— Пошёл прочь, дрянь!

Через полминуты все разошлись, остался один Бурцев, Артём с Борисом Лукьяновичем прошли мимо.

Сапоги на Бурцеве были новые, отличные и начищенные до блеска. С Артёмом он не поздоровался.

\* \* \*

Прошли через монастырский двор и вышли с другой стороны — Управление лагерем располагалось в здании на причале. Через эти ворота заключённых не выпускали, но Борис Лукьянович, видимо, имел особый документ.

Кабинет у Эйхманиса был просторный, полный воздуха. На столе стоял графин с чистой водой. Портретов на стенах не было, только самодельная карта Соловецкого острова с многочисленными флажками.

“Кто-то из заключённых рисовал наверняка”, — подумал Артём.

Когда входили, Эйхманис поднял глаза и ничего не сказал.

При ярком дневном свете стало заметно, что он загорелый. Волосы ровно зачёсаны назад, высокий голый лоб с белой, у самых волос, полоской — видимо, иногда на жаре ходил в кепке или фуражке. Глубокая морщина между бровями. Крупные поджатые губы. Неподвижный взгляд направлен прямо на Бориса Лукьяновича.

Что-то в нём было такое... Артём искал подходящее слово... Словно он был иностранец! Каждую минуту ожидалось, что вдруг он перейдёт на свою, родную ему речь, и совсем не латышскую, или немецкую, или французскую, а какую-то ещё, с резкими, хрустящими, как битое стекло, повелительными словами.

Отдельно в уголке сидел Граков, с чрезвычайно осмысленным видом делающая заметки в своём блокноте.

— Фёдор Иванович, я знаю, что артистам теперь положен допшаёк, артистов сняли с работ... Но нам, спортсменам, я считаю, нужен тройной паёк. Хотя бы до соревнований. У многих недостаток веса... Это может сказать... — чуть стесняясь, но в то же время настойчиво, словно принуждая себя произнести всё, что считал нужным, говорил Борис Лукьянович.

— Борис Лукьянович, с вашей командой только одна проблема, — громко, словно бы на плацу, с чуть нарочитой резкостью отвечал Эйхманис, не смотря на то, что ему, судя по всему, происходящее казалось забавным. — Двадцать три из двадцати семи предполагаемых участников соревнований на ходятся здесь по статье “Терроризм”.

Борис Лукьянович потрогал дужку очков, как бы желая их снять, но раздумал, будто решил: а вдруг не увижу что-то важное?

“Насколько Борис Лукьянович смотрится меньше рядом с Эйхманисом, — отметил Артём. — Или это власть? А если бы на месте Эйхманиса сидел Борис Лукьянович?.. Я бы воспринимал всё иначе?”

— Терроризм! — повторил Эйхманис и поднял карандаш вверх, покрутив его лёгким круговым движением с таким видом, словно готовился бросить в дальний угол кабинета или в Гракова, которого он просто не замечал.

Артём некстати вспомнил, что Галя тоже всё время разговаривала с карандашом в руке.

— У нас что, нет других преступников? — спросил Эйхманис; он чуть ослабил пальцы, карандаш скользнул вниз, Эйхманис поймал его за самый кончик и показывал в воздухе, словно это была стрелка часов; в его неосмысленной игре было симпатичное мальчишество. — Воры есть? Есть. Грабители есть? Есть. Мошенники есть? Оч-чень много! Так почему ж вы набрали одних террористов? Это самая любимая ваша статья Уголовного кодекса? Или вы готовите нам какой-нибудь сюрприз к годовщине Октября?

Борис Лукьянович кашлянул и посмотрел по сторонам — Артём догадался, что тот ищет стакан: ему захотелось воды. Но стакан был только у Эйхманиса.

— Иван! — крикнул Эйхманис куда-то, легко пристукнув ладонью о стол; Борис Лукьянович и Артём вздрогнули, в стакане Эйхманиса мягко качнулась вода. — Кружку принеси, будь добр!

Эйхманис несмотря на то, что обожал муштру, построения и военные смотры, сам был в гражданской одежде. Который раз Артём его видел — и всякий раз это отмечал: в то время как вся лагерная администрация носила форму, он появлялся на людях то в свитере красивой вязки, то в одной тельняшке, а сейчас сидел в элегантном пиджаке, три верхние пуговицы на рубашке были расстёгнуты, виднелась крепкая шея — вместе с тем было в нём что-то молодое, почти пацанское.

Артём поймал себя на чувстве безусловно стыдном: в эту минуту Эйхманис ему по-человечески нравился.

Он так точно, так убедительно жестикулирует, и за каждым его словом стоит необычайная самоуверенность и сила.

Если б Артёму пришлось воевать, он хотел бы себе такого командира.

Принесли кружку. Эйхманис резко, по-хозяйски передвинул графин со своего стола на стол совещаний, стоявший впритык.

— Понимаете... — начал Борис Лукьянович, наполнив себе кружку и бережно отпив; было видно, что ему трудно объясняться. — По статье “Терроризм” чаще всего попадаются... студенты. Если студент идёт в террористы, он, как правило... в неплохой физической форме. То есть многие из них готовят себя...

— Ну да, готовят, — в тон Борису Лукьяновичу и вроде бы без раздражения сказал Эйхманис, но Артём почувствовал, что физкультурник опасается поднять глаза на начлагеря.

Борис Лукьянович снова на несколько секунд замолчал.

— Чего не скажешь ни о рабочих, — закончил он, наконец, — ни о крестьянстве... Ни о нэпманах. Ни о большинстве уголовников, у многих из которых здоровье уже подорвано. Есть, я догадываюсь, среди каэров люди, которые могли бы нам...

— Да-да, террористов из новых и каэров из бывших, — засмеялся Эйхманис. Артём, наконец, решился на него мельком взглянуть и сразу встретился с ним взглядом: глаза у начлагеря были серые, чуть надменные и чуть усталые, зато с пушистыми и длинными ресницами; и как он их уберёт до своего возраста? — неясно. Он что, никогда не прикуривал на ветру?

Смех у него звучал так, что было понятно: смеётся в его кабинете только он один, всем остальным это делать необязательно.

Зубы у Эйхманиса были ровные, уши твёрдые, как бы вырезанные резцом, на подбородке заметная ямочка... И только скошенная, ускользящая какая-то линия скул, снова замеченная Артёмом, чуть портила впечатление. С такими скулами сама голова Эйхманиса казалась недостаточно крупной для его тела и напоминала что-то вроде морского валуна, который долго обтачивало море, а потом сплюнуло, сгладив то, чему нужно бы выглядеть резче и очерченней.

— Это будет славная компания, — закончил Эйхманис и тут же спросил у Артёма, впервые переведя на него взгляд. — Вот вы за что сидите, Артём?

Артём едва не поперхнулся, услышав своё имя: он точно помнил, что Борис Лукьянович представил его просто как помощника, никак не называя, да и глупо было бы знакомить начлагеря с рядовым заключённым.

Это знание Эйхманиса могло означать всё что угодно, но Артём явственно почувствовал оглушительную гордость: его знают! Он замечен!

— Я? — переспросил Артём, что вообще было не в его привычках.

Эйхманис коротко и терпеливо кивнул: да, вы.

— За убийство, — сказал Артём.

— Бытовое? — быстро спросил Эйхманис.

Артём кивнул.

— Кого убили? — так же быстро и обыденно спросил Эйхманис.

— Отца, — ответил Артём, почему-то лишившись голоса.

— Вот видите! — обернулся Эйхманис к Борису Лукьяновичу. — Есть и нормальные!

Борис Лукьянович посмотрел на Артёма и ничего не сказал, только ещё раз выпил воды.

Граков не отрывал глаз от блокнота и, кажется, даже не писал, а рисовал или чёркал что-то.

— У меня есть предложение, — вдруг нашёлся Артём, чтоб перевести на другое внимание Эйхманиса и Бориса Лукьяновича. — Может быть, имеет смысл подключить Информационный отдел и посмотреть в делах? Там может обнаружиться информация о людях, которые занимались спортом, но по тем или иным причинам не объявили о своём желании участвовать в соревнованиях. Их можно отдельно и настойчиво попросить. Просто нужно знать, кого именно.

— Иван! — позвал Эйхманис, и тут же в дверях появилось лицо секретаря. — Пошли вестового в ИСО, пусть Галину вызовет.

— Идея очевидная, а в голову не пришла. Спасибо, Артём, — сказал Эйхманис совсем просто, и Артём с трудом не покраснел от удовольствия, но начлагеря уже обращался к Борису Лукьяновичу. — Итак, пайками обеспечим. По общему составу участников ещё проведём работу. А теперь общая организация. Слушаю вас внимательно...

Борис Лукьянович подробно отчитался: перед каждым смысловым абзацем он набирал воздух, словно ему всякий раз нужно было доплыть до следующего раздела.

Эйхманис больше его не перебывал.

Артём с некоторым сомнением думал, а не обернётся ли его инициатива новой, отдельной встречей с Галиной, которую он несколько не хотел видеть.

Она всё не шла.

В разговор ему пришлось вступить ещё раз, когда заговорили о воспитательной нагрузке соревнований. Граков тут по-новому приосанился и с шумом перелистнул свои каляки-маляки, открыв чистый лист.

Артём уже придумал несколько трескучих лозунгов для соревнований и сразу же предложил их на выбор. Ни души, ни сердца он в это не вкладывал, поэтому подобная деятельность давалась ему особенно легко. Но Эйхманис отнёсся к предлагаемому более чем серьёзно и записал себе каждый лозунг, сокращая слова и целые предложения, в чём легко обнаружились навыки студента, когда-то всерьёз посещавшего лекции. Граков, заметил Артём, записывал куда более полно и совершенно не поспевал, понапрасну надеясь на свою память.

В конце встречи Эйхманис без всякого пафоса попыток обобщить картину и набросал несколько тем, чтобы Борис Лукьянович подумал.

Речь его выдавала человека собранного и внимательного.

Когда все поднялись, Эйхманис ещё раз переспросил:

— Вы, Артём, отвечаете за общую дисциплину, но и в соревнованиях тоже принимаете участие?

— Так точно, — спокойно ответил Артём, уже освоившись.

Эйхманис окинул его изучающим взглядом, и Артём тотчас догадался, о чём начлагеря собирается его спросить.

— Бокс, — сказал Артём, чуть улыбнувшись.

Эйхманис кивнул.

— Галина, видимо, у нас чем-то занята, — сказал он. — Вас к ней сведут, она тем временем подготовит нужную информацию по спортивным кадрам.

Артём хотел было сказать: “Да мы знакомы с Галиной!” — но сразу же передумал.

В коридоре, дожидаясь, когда вызовут, сидели священник, молодой парень, по виду из леопардов, и каэр — выправка и взгляд выдавали его.

Все трое внимательно осмотрели Бориса Лукьяновича, Артёма и Гракова.

Артём, не в силах сдержаться, нёс на лице печать посвящённости в неведомые обычным лагерникам вопросы.

Что до Бориса Лукьяновича, то он вообще не заметил других посетителей, а просто был озабочен.

— Сегодня у Мезерницкого посиделки, пойдёте? — предложил Граков Артёму на улице. — Он о вас хорошо говорил.

Они смотрели на море. Над водой летала — то снижаясь, то взмывая, — словно раскачиваясь на невидимых качелях, чайка.

Артём расценил уважительное обращение к нему Гракова как ещё одно доказательство своего нового положения.

— Да? — приветливо переспросил Артём. — А во сколько?

Он вдруг раздумал бояться блатных: кто его тронет после того, как Эйхманис называл его по имени? Артём может растоптать их всех.

“А то, что Борис Лукьянович узнал, за что сидит лагерник Горяинов, — так мало ли кто и за что здесь сидит”, — отмахнулся от себя Артём.

По крайней мере, расстались они нормально. “Неплохо вы придумали с поиском новых кадров”, — сказал Борис Лукьянович, не очень, впрочем, уверенный, судя по его внешнему виду, в том, что сам произносил.

Да и ладно, решил Артём. Главное, что Эйхманису понравилось.

“А то, что тебя опять к Галине приведут? — ещё раз спросил он сам себя. — Означает ли это, что ты полный кретин со всеми своими предложениями?”

“А зачем ей меня делать стукачом, если я и так работаю по отдельному указанию начлагеря?” — с некоторым вызовом ответил себе Артём.

В общем, успокоился: расклад вроде неплохой — даже хороший расклад.

Он шёл к своему корпусу — уверенный, сильный. Чайка настырно кружила прямо над головой, он подпрыгнул и едва не попал ладонью ей по хвосту.

Оставался один вопрос: звать ли Осипа.

“Нужен мне этот невротик или нет? — спрашивал себя Артём. — Разве дело, если каждый будет со своими друзьями приходиться?..”

Он благоразумно решил не вспоминать, как Василий Петрович в прошлый раз его самого позвал к Мезерницкому.

“К тому же он так дурно и глупо говорил про Эйхманиса — ничего в нём не понял, — размышлял Артём, имея в виду Осипа и всё пытаюсь придумать вескую причину, чтоб идти одному. — Хотя при чём тут Эйхманис? Ты же не к Эйхманису идёшь на посиделки”, — тихо издевался он сам над собою.

Осипа он позвал, конечно.

Тот вернулся с работы привычно раздражённый: Артём заранее знал, что Осип сейчас начнёт ругаться из-за отсутствия нужного инструмента, или из-за глупейших лагерных ограничений, или из-за хамства администрации, поэтому прервал его сразу:

— Осип, а нас пригласили в гости! — объявил он торжественно, похрустывая морковкой: пообедать сегодня он так и не успел.

Осип, щурясь, некоторое время смотрел на Артёма. Потом ответил:

— Думаете, это уместно?.. Я, наверное, не хочу никуда.

— Пойдёмте, — уверенно сказал Артём. — Нас там отлично накормят... Но мы и с собой принесём кое-чего, — с этими словами он выдвинул свой сухпай из-под лежанки.

Осип заглянул в сухпай, как будто там могло обнаружиться что-то новое и необычное.

...В келье Мезерницкого уже сидели фельетонист Граков и Василий Петрович: Граков — на лежанке, Василий Петрович — у окна на стуле; сам хозяин выступал перед ними.

Артём едва сдержался, чтоб не захохотать, как ребёнок, — он был необычайно рад увидеть своего старого товарища. И Василий Петрович тоже вспахнул глазами: как если бы дунули на угли.

“Ах, Артём, милый Артём”, — говорил весь вид Василия Петровича.

— Была империя, вся лоснилась, — рассуждал Мезерницкий, размахивая руками; ногти у него по-прежнему были нестриженные и с чёрной окаёмкой. — А вот Соловки. И всем тут кажется, что это большевики — большевики всё напортачили, — Граков, слушая Мезерницкого, смотрел в стол,

чуть подрагивая бровями, словно у него был тик. — А это империю вывернули наизнанку, всю её шубу! А там вши, гниды всякие, клопы — всё там было! Просто шубу носят подкладкой наверх теперь! Это и есть Соловки!

Осип с минуту озирался по сторонам, пока внимание его не остановилось: на столе была разложена разнообразная снедь.

Василий Петрович встал, молча зазывая Артёма на своё место, с таким видом, словно сам сидел тут не первый час и уже притомился отдохнуть, в то время как уставшему с дороги Артёму обязательно нужно присесть.

Всё это, конечно, растрогало Артёма ещё больше. Он положил завернутую в бумагу рыбу на стол и крепко обнялся с Василием Петровичем.

— Вы, что ли, не видите в роте? — серьёзно, с едва различимой иронией спросил Мезерницкий.

— Меня перевели... — ответил Артём. — Это мой друг Осип, учёный.

— “И днём, и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом...” — сказал Мезерницкий, протягивая руку Осипу. Тот пожал её с некоторым неудовольствием.

— Я вам вещи принёс, Артём. А то вы всё не заходите, — негромко сказал Василий Петрович. — Впрочем, и правильно делаете.

Артём почувствовал, что от Василия Петровича пахнет. Запах был неприятный, но странно знакомый.

“Да это же запах барака! Моей двенадцатой роты! — догадался Артём. — Когда ж я успел отвыкнуть?”

И даже как-то легче стало, и отлегло: “Да обычный запах!..” — даже не подумал, а скорее приказал себе Артём. Приказал и подчинился.

— ...прозревали, какой он — народ, — продолжал о своём Мезерницкий, раскладывая принесённые гостями яства в разные стороны: это порезать, это почистить, это на салат, это на котлету. — Может, он такой? Может, он сякой? И тут их, наконец, привезли посмотреть, какой он — народ. Они и прозрели! Только прозрели — во тьму! Прозрели — во тьму! Видят — мрак! И пытаются теперь его описать соответствующим образом: народ — он, знаете ли, тёмный и безмолвный. “Да, тёмный, и ещё — страшный!” “Действительно, тёмный, страшный и как-то душно пахнет!” “И ещё колючий! Пахучий и колючий!” А это шуба, вывернутая наизнанку! Носили эту шубу на себе и не знали, что за дух там стоит в рукавах и под мышками!

— Это что? — спросил Осип, показывая пальцем.

— Это, — прервался Мезерницкий, кстати, совершенно не обидевшись на то, что его прервали, — тюленьё мясо, — и тут же спросил у Артёма: — А вас куда перевели?

— Во вторую, — сказал Артём, улыбаясь.

— И чем теперь занимаетесь? — спросил Мезерницкий без мягкого звука в конце слова.

— Придумываю лозунги, — ответил Артём, продолжая улыбаться.

Мезерницкий, своеобразно сложив губы, покивал: да, мол, неплохо.

— Проще, чем на баланах? — спросил.

— Несколько проще, — столь же серьёзно ответил Артём.

— Мезерницкий, вы вот говорите: прозрели на Соловках. По-моему, была возможность увидеть и понять народ в гражданскую? Разве нет? — сказал с улыбкой Василий Петрович.

— Нет, не говорите, — ответил Мезерницкий, тут же отвлёкшись от Артёма, и Артёму всё это казалось замечательно милым: разговор всех со всеми одновременно. — Во-первых, война, там другие обстоятельства. Там куда меньше быта. Во-вторых, даже на войне, где хватало всевозможного сброда, такого разнообразия типажей, как на Соловках, было не найти, тем более что иных типажей и не существовало тогда вовсе. Да, отчасти знали мужика и рабочего. Казака и осетина. Священника. Сироту. Прочее. Но на войне, как ни странно, люди всегда представляются чуть лучше, чем они есть: их так часто убивают, это очень действует, по крайней мере, на моей памяти нас убивали чаще, чем мы, и я так и не разучился огорчаться по этому поводу. Может быть, оттого, что тех, кого мы убивали, мы не знали во-

все, а порой и не видели вблизи их смерть; зато тех, кого убивали из нас, мы знали близко и видели исход всякой души.

Зашёл, совершенно неожиданно для Артёма, Моисей Соломонович и всем очаровательно сделал руками и глазами: сидите-сидите-сидите, я буду очень незаметным.

Мезерницкий кивнул ему, как знакомому, и начал ловко нарезать тюленьё мясо.

Граков даже привстал, чтоб видеть это.

Артём обратил внимание на его щёки, всегда словно расслабленные, как у спящего.

Моисей Соломонович, стоя у дверей, облизал губы, будто готовясь запеть и борясь с этим желанием.

— А тут, я говорю, тюрьма... — продолжал Мезерницкий, — и люди вдруг оборачиваются другими сторонами. Мы крайне редко убиваем друг друга тут, зато трёмся и трёмся, и трёмся всеми боками, не в силах разминуться, и вдруг прозреваем суть. Это как если бы мы были посажены в полный трамвай, и он сошёл с ума и вёз бы нас целый год или три. Поневоле приходится привыкать друг к другу... Здесь мы познакомились со своими вчерашними врагами в упор и начали даже делить с ними хлеб. Здесь мы остались почти голые — у большинства из нас нет ни званий, ни орденов, ни регалий, только сроки. Здесь мы узнали советского нэпмана и советского беспризорника — эти человеческие виды лично мне не были известны доселе. Здесь я увидел лагерную охрану и конвойные роты, а это есть идеальный образчик трудового народа, на время, с тоскою в сердце оставившего плуг и токарный инструмент.

Граков на этих словах быстро перевёл взгляд с тюленьего мяса на Мезерницкого и обратно.

“Слишком быстрые глаза при таких медленных щеках...” — отстранённо подумал Артём.

Осип, напротив, теперь уже с интересом прислушивался к Мезерницкому, позабыв о тюленьем мясе.

— Вам не кажется, что это не столько народ, сколько плесень на нём? — красивым своим и глубоким голосом сказал Моисей Соломонович. — А разве мы можем судить о вкусе сыра по плесени на нём?

— Есть такие сыры — с плесенью, — сказал Мезерницкий.

— Боюсь, что советская власть готовит другой вид сыра, в котором плесень будет исключена, — сказал Моисей Соломонович. — Только молоко!.. Новый народ — только молоко и сливки. Никакой плесени.

Василий Петрович внимательно смотрел на Моисея Соломоновича. Что-то в его взгляде было... нехорошее.

Моисей Соломонович, испросив разрешения, начал помогать Мезерницкому готовить и накрывать на стол, и свершал это не без остроумной ловкости.

Граков поинтересовался у Осипа, как идут дела в изучении морских водорослей: стало понятно, что они уже встречались и на эту тему имели некоторые беседы.

— ...Вы же так не доживёте до конца своего срока, — тихо, но разборчиво сквозь общий шум выговаривал Василий Петрович Артёму. — Вас точно хотят убить. Вы как-то заигрались во всё это. Я даже не знаю, чем вам помочь.

— Василий Петрович! — Артём даже боднул лбом товарища в его многоумный лоб, чего до сих пор себе не позволял. — Не портите мне моё июльское, зелёное настроение! Да и не случится ничего со мной...

Василий Петрович внимательно посмотрел прямо в глаза Артёму и только вздохнул.

Артём порывлся в принесённом мешке: если что и боялся он потерять, так это присланную матерью домашнюю подушечку — отчего-то она была ему дорога: он даже и не клал её под голову, а куда-то прятал под сердце и так спал на ней; да и то не всегда. Подушечка в пёстренькой наволочке была на месте. Правда, тоже пахла баракком.

Между тем Моисей Соломонович, незаметно для себя, тихонько запел:  
— ...Мане что-то скучно стало: “Я хочу, хочу простор... чтоб шикарная коляска... с шиком въехала во двор...”

Мезерницкий, озирая стол, яростно потирал руки.

— Ах, всё Мане нудно стало: платье лёгкое, как пух, итальянские картинки надоели Мане вдруг, — красиво, в нос выводил Моисей Соломонович.

Эту песню исполнял он так, словно шмары и шалавы всяя Руси попросили Моисея Соломоновича: расскажи о нас, дяденька, пожалей.

Дяденька некоторое время жалел, и потом незаметно начинал петь совсем другое, неожиданное.

Когда попадалась Моисею Соломоновичу русская песня, казалось, что за его плечами стоят безмолвные мужики — ратью чуть не до горизонта. Голос становился так огромен и высок, что в его пространстве можно было разглядеть тонкий солнечный луч и стрижка, этот луч пересекающего.

Если случался романс — в Моисее Соломоновиче проступали аристократические черты, и, если присмотреться, можно было бы увидеть щеголеватые усики над его губой, в иное время отсутствующие.

Лишь одно объединяло исполнение всех этих песен, — верней, от каждой по куплету, а то и меньше, — где-то, почти слышимая, неизменно звучала ироническая, отстранённая нотка: что бы ни пел Моисей Соломонович, он всегда пребывал как бы не внутри песни, а снаружи неё.

— Перевели нашего тенора, — сказал Василий Петрович Артёму. — Теперь он по кооперативной части.

Моисей Соломонович, между прочим, принёс с собою дюжину пирожков с капустой и ещё столько же с яйцом.

Стол был не то чтоб очень богатый, зато разнообразный, уставленный и уложенный сверх меры.

— Всё это поедать одновременно не есть признак воспитанного человека, а вот если с чаем — тогда другое дело, — объявил Мезерницкий. — Тогда сочетание рыбы, пирогов с капустой, тюленьего мяса, брусники и моркови становится вполне уместным. Посему, Граков, идите за самоваром — он клокочет на печи в коридоре.

— А что, у вас аналой? — спросил Осип Мезерницкого.

— Это не совсем аналой, — ответил Мезерницкий. — Это тумбочка! Приспособили!

Все засмеялись.

Показалось, что самовар окончательно занял оставшееся в келье место, но когда — “в рифму к аналою”, как подумал Артём, — появился по-прежнему прихрамывающий владычка Иоанн, все с воодушевлением потеснились.

— А я вот... конфет, — сказал владычка, выглядывая место, куда можно насыпать сладкого.

— Конфеты пока держите при себе, — сказал Мезерницкий. — Сейчас мы попросим гостей отведать тюленьего мяса и на освобождённое место... выложим...

Перед едой только владычка Иоанн и Василий Петрович перекрестились, больше никто, заметил Артём.

Несмотря на свой зачаровывающий копчёный и солёный запах, тюленья оказалась безвкусной, как мочалка. Хотя, если закусывать её пирогами с капустой и запивать горячим чаем, получалось совсем даже ничего.

Все жевали, и у всех на глазах стояли слёзы напряжения и умиления.

— У вас ведь скоро кончается срок, Мезерницкий, — сказал Василий Петрович, который буквально уронил слезу, расправившись с тюленьим мясом.

— И не говорите, Василий Петрович, — как бы невпопад и оттого смешно ответил Мезерницкий.

— И куда поедете, опять в Крым? — спросил Граков.

Мезерницкий с едким юмором посмотрел на Гракова, одновременно не отказывая себе в пироге с капустой. Так с набитым ртом и ответил:

— Как же, в Крым, у меня же там гражданская жена... Оттуда в Турцию, из Турции в Париж, оттуда в Москву и снова на Соловки... Так и буду по кругу, — и запил всё это чаем.

Моисей Соломонович беззвучно смеялся на слова Мезерницкого, Артёму тоже было смешно. Зато Василий Петрович совсем не улыбался.

— А всё-таки, куда соберёшься, милый? — спросил владычка Иоанн.

— А в Москву, куда же ещё, — спокойно ответил Мезерницкий.

— В какую Москву! Бегите в деревню, а то опять за манишку и в конверт, — сказал владычка Иоанн и даже показал рукой, как Мезерницкого схватят за манишку. Тут уже все засмеялись, даже Осип, которому смех был вообще несвойственен: речь прозвучала из уст владычки крайне неожиданная и оттого ещё более трогательная.

— Вылечили вашу хворь, владычка? — спросил спустя минутку Артём у батюшки Иоанна.

Все уже были распаренные и понемногу наедались. Самый крепкий аппетит оказался у Моисея Соломоновича и Осипа, который был сегодня неразговорчив, видимо, предпочитал одного внимательного собеседника сразу нескольким шумным.

— Нет, милый, — ответил владычка, — Зиновия выписали. А мне только разрешают погулять на свежем воздухе — размять колено. Вот я к вам и завернул по приглашению Василия Петровича, — и кивнул Василию Петровичу.

Открылась дверь, и Артёму пришлось ещё раз удивиться — на этот раз Бурцеву.

“С другой стороны, он же тут был — отчего бы ему не зайти, — сказал себе Артём, спокойно глядя на Бурцева. — Тут никто не в курсе твоих с ним проблем”.

Бурцев разом измерил взором всех гостей — тем особым образом, который даёт возможность ни с кем отдельно не соприкоснуться глазами.

— У вас тут... аншлаг, — сказал он.

Бурцеву места действительно не было, но, кажется, Мезерницкого это нисколько не расстроило.

Владычка Иоанн порывался подняться, а Моисей Соломонович — вообще выйти из-за стола, захватив, правда, с собою две конфеты, но Мезерницкий встал напротив Бурцева так, чтоб остановить любое движение за своей спиной.

— Давно тебя не было, брат, — сказал Мезерницкий, и Артём сразу почувствовал в его обращении нечто почти уже дерзкое, словно тот захмелел от чая. — Всё в делах?

Бурцев прямо посмотрел на Мезерницкого и ничего не ответил.

— Говорят, у тебя теперь новая должность. И, как я догадываюсь, ты пришёл с визитом, дабы я разделил твою радость, — сказал Мезерницкий.

— Мне предложили перейти в Информационно-следовательский отдел, — спокойно ответил Бурцев.

Он вёл себя очень достойно.

— Как ты растёшь, — сказал Мезерницкий. — Скоро Эйхманиса сменишь, если с такой скоростью...

Бурцев ещё раз посмотрел на своего теперь уже бывшего товарища и ответил:

— Я не клоун, Мезерницкий.

Только когда Бурцев вышел, Артём догадался, о чём был этот диалог.

Клоуном сотрудник администрации Бурцев назвал музыканта духового оркестра Мезерницкого.

\* \* \*

— Давайте-ка я сам, — сказал Борис Лукьянович Артёму. Артём с удовольствием снял перчатки в виде рукавиц и варежек — настоящие, как вчера пообещал Эйхманис, должны были доставить на ближайшем пароходе из Кеми.

— Чемпион Одессы, — кивнул Борис Лукьянович, когда нового кандидата в спортсекцию привели под конвоем.

Артём ничего не ответил, чтоб не выдать словом своих печальных опасений. По озадаченному виду Бориса Лукьяновича было понятно, что одесская школа — это не шутка.

Лоб и нос, плечи и руки — всё выдавало в этом парне состоявшегося боксёра. Когда он снял свой замусоленный пиджак, стало совсем неприятно: мышцы его напоминали те мокрые и десять раз перекрученные рубахи, которые Артём когда-то выжимал вместе с матерью.

К тому же парень был взбешён тем, что его вытащили из роты. Ни с кем соревноваться он желания не испытывал. Но и сдаваться тоже, похоже, не собирался.

На Бориса Лукьяновича поглядывал с неприязнью. На Артёма вообще не смотрел.

Поединок начался так стремительно, что, казалось, вот-вот и закончится.

Борис Лукьянович, до сих пор смотревшийся как самое идеальное среди всех спортсменов сочетание скорости и силы, теперь выглядел мясисто, медленно и озадаченно.

Одесский чемпион бил сразу и со всех сторон, словно у него было шесть рук, и каждая оспаривала право быть самой быстрой и дерзкой.

Через минуту, к удивлению Артёма, Борис Лукьянович начал немного раздражаться, но поделаться всё равно ничего не мог: достаточно было и того, что он до сих пор не упал, хотя один глаз у него уже запыл, и ухо пылало, как поджаренное.

Вообще ничего не мешало ему сказать: “Спасибо, голубчик, мы вас берём”, — но Борис Лукьянович, похоже, немного потерял рассудок от частых зуботычин.

Чемпион дышал через нос — и самое дыхание его было злое, раздражённое, жаждущее унижения соперника.

— Здесь нет канатов, — бросил он с презрением. — Не соизволите ли соблюдать хотя бы видимость квадрата? Я не бегун, чтоб вас догонять.

Донельзя обиженный этими словами, Борис Лукьянович кинулся на чемпиона и через мгновение лежал поверженный и распахнувшийся настезь всеми руками и ногами.

Артём присел возле, похлопал по щеке, позвал — слава Богу, тот начал выплывать, постепенно осознавая смысл предметов, звуки, цвета, причину, по которой Артём находился рядом.

Через минуту он сел, придерживая себя за виски кулаками.

Чемпион, сняв рукавицы с варежками, с необычайной брезгливостью сбросил их прямо на землю, встал спиной к Борису Лукьяновичу, натянул свой пиджак и красиво засунул руки в карманы.

Борис Лукьянович жестом попросил у Артёма очки — так, словно без очков он не умел разговаривать.

— Отлично работаете, — сказал он громко. — Вынужден ходатайствовать о переводе вас в спортсекцию.

— Мне отвратительна вся ваша показуха, — сказал чемпион.

— Вы отказываетесь? — спросил Борис Лукьянович.

Чемпион некоторое время молчал.

Борис Лукьянович успел за это время подняться, не отказавшись от помощи подавшего руку Артёма.

— Мне всё равно, — сказал чемпион.

— Вот и договорились, — равнодушно бросил Борис Лукьянович и ушёл в спортивную, уже под крышей, казарму. Махнул Артёму: идёте, мол, на пару слов.

— Артём, вы ему не противник, — сказал Борис Лукьянович просто. — Во-первых, он тяжелее вас... Но дело, конечно, не только в этом... Вам надо искать противника по вашей силе и вашей подготовке. А то получится быстрое и бесславное избиение. Соответственно, нужен противник и для него.

Артём молчал и слушал: а что было сказать?

— И, кажется, тут есть ему пара, — спокойно продолжал Борис Лукьянович, иногда чуть морщась от боли в голове. — К нам прибыл один британский шпион. Я по его посадке уже определил: может...

— А если мне не найдут пары? — наконец решился спросить Артём.

— Лучше тогда оставьте вас при спортсекции как тренера и моего помощника, — ответил Борис Лукьянович и, взглянув на Артёма, добавил: — В роту не пойдёте пока, не переживайте. Впрочем, вы сами понимаете — это всё ненадолго.

— Тут ненадолго, там ненадолго, а срок — он тоже, знаете, не навсегда, — ответил очень довольный Артём.

Ему никогда не нужно было многого для радости.

Борис Лукьянович всё пытался получить очки, будто лицо у него несколько изменило форму, вследствие чего очки стали и малы, и ещё как-то, что ли, угловаты.

— Думаю, надо тогда в ИСО идти, — сказал он, трогая поочерёдно нос и ухо, — запросите там, кого они ещё могут нам предложить. Фамилию шпиона я вам сейчас запишу, всё время забываю...

Артём шёл в кремль и чувствовал, какое у него превосходное настроение.

Разбирать его на составляющие не было никакой необходимости. Когда так много мирской мерзости клубится вокруг, только и остаётся, что нести ласковую улыбку поперёк лица.

“Вот я сам иду к Галине... — думал Артём словно бы в полудрёме; денёк был тёплый, пригожий, солнце — разнеженное, комары — медленные, — иду к Галине, и что-то там будет, по дороге меня может встретить Ксива с ножом... и Жабра с кольём... и Шафербеков с костью... а я иду себе... Я себе иду”.

На посту в ИСО сидел всё тот же морячок с наглой мордой и чёрными зубами.

Артём вдруг понял, что не знает ни фамилии, ни должности Галины.

Раздумывать было некогда, поэтому он так и сказал:

— Мне к Галине.

— Её нет, — ответил моряк и встал, чтоб перекурить на улице. Шёл прямо на Артёма — стоять на пути не имела смысла, и Артём волей-неволей поспешил на воздух. Морячок всё равно его подтолкнул, просто из вредности и хамства.

“Как бы хорошо было развернуться и зазвездить ему в зубы”, — подумал Артём без обиды.

И чтоб окончательно себя ублажить, неожиданно решил: “А я в библиотеку пойду! Никто и не заметит, что нет меня...”

За всё время своего срока Артём ещё ни разу не был в библиотеке и пребывал в уверенности, что туда так просто не попасть.

Но нет, никто его не остановил.

Он прошёл в читальный зал; там сидели то ли лагерники, то ли вольнонаёмные, листали журналы, на Артёма — никакого внимания. Всё было так обыденно и поэтому — удивительно.

Артём подошёл к заведующему библиотекой, судя по внешнему виду, священнику.

— Добрый день, молодой человек, — сказал он. — Что желаете? Вы, как я понимаю, ещё не записаны здесь?

— Нет, я впервые, — тихо ответил Артём, даже поёживаясь от удовольствия.

— Какая рота?

Артёма быстро оформили и завели на него отдельный формуляр.

— Мне бы стихов, — сказал Артём так, словно просил конфет.

— Чьих? — спросил его библиотекарь.

— А любых, — всё тем же счастливым шёпотом ответил Артём.

Ему и принесли несколько рваных книжиц: Некрасов, Надсон, том из собрания Брюсова, стопку “Красной Нови”, ещё что-то с разнокалиберными буквами, то сидящими, то стоящими друг у друга на головах.

Он сел возле окна. К окну прилетела чайка, постучала клювом: дайте корма. Приглядывалась наглым глазком.

Артём даже не стал читать всё, а просто листал и листал все эти журналы и книжки — прочитает две или три строки, редко когда целое четверостишие до конца — и снова листает. Как будто потерял какую-то строку и хотел найти.

Без смысла повторял одними губами стихотворную фразу, не понимая её и не пытаясь понять.

“Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?..” — шептал Артём, и лицо его было таким, словно он произносил вслух условия изначально неразрешимой задачи по геометрии.

И не заметил бы, как начало вечереть, — голод о себе напомнил.

Так и вышел с этой строкой на улицу: “Чьи ноги... по ржавчине... нашей... тьфу ты! Ноги какие-то, ржавчина. Что я скажу Борису Лукьяновичу? А скажу что-нибудь. Пойду-ка я лучше куплю себе мармелада к вечернему чаю...”

Ларёк в кремле был уже закрыт.

В тот, за пределами кремля, магазин, куда Артём уже повадился ходить, он не решился отправиться — путь пролегал мимо спортсекции, могли заметить — неудобно же.

Артём вспомнил, что здесь имелся ещё один магазин — “Розмар” на причале, в торце Управления СЛОНА: он его заметил, когда ходили с Борисом Лукьяновичем к Эйхманису.

Торговали там, правда, только для вольнонаёмных, конвойного полка и чекистов, но Артём чувствовал себя почти как вольный — после библиотеки... По крайней мере, очень хотел это почувствовать и рад был обмануться.

В пропуске у него значилось, что ему запрещён выход к морю, — но он же не к морю, он в Управление, где и так уже бывал.

Этот “Розмар” был побогаче: у Артёма на миг дыхание перехватило от вида печёнки — ах, как хочется жареной печёнки! — сливочного масла, копчёной колбасы, коробок с чаем.

Впрочем, вида показывать было нельзя, и он поспешил к прилавку; впереди стоял только один красноармеец из роты охраны, продавец насыпал ему леденцов и на Артёма не смотрел.

Когда красноармеец, пересыпав леденцы в карман, вышел, Артём решительно ступил к прилавку, но не успел открыть рот, как продавец его осадил:

— А ты откуда, парень?

— Освобождён по амнистии, остался вольнонаёмным! — вдруг браво соврал Артём, чего не ожидал от себя и мгновение назад. — Будем знакомиться! Леденцов хоч.

На самом деле он хотел печёнки, но её покупка показалась Артёму куда более серьёзным шагом, который немедленно бы вскрыл его обман, а леденцы — что леденцы! — ерунда...

Кажется, во всём этом был смысл, потому что продавец, на лице которого с подзастывшей ухмылкой ещё читалось некоторое недоверие, бросил на весы оставшиеся леденцы вместе с бумажкой, на которой они лежали слипшейся гурьбой.

— Вообще мы закрылись уже, — сказал продавец, втайне недовольный собой.

— Спасибо! — поблагодарил Артём, скорей подсовывая деньги, чтоб продавец, упаси Бог, ничего не спросил: скажем, документ или хотя бы место работы.

Но так и случилось: подавая сдачу, продавец, всё сильнее хмурясь, поинтересовался:

— А куда нанялся-то?

Артём протянул ладонь под сдачу, которую продавец никак не выпускал из своей лапы.

— На Заячий остров, — ответил он, изо всех сил улыбаясь.

— И чем занимаешься?

Артём, продолжая улыбаться, прихватил за кончик бумажный рубль и потянул на себя. Продавец ослабил хватку.

— Шиншилловых зайцев развожу, — сказал Артём, оглянувшись на входе. — Соловецкая порода! Питаются одними каэрами!

На улице, прикрыв за собой дверь, он не выдержал и засмеялся.

“Ай! — восхищался. — Ай, какой я!”

Сунул леденец в рот и, в один мах раскусив его, залюбовался на вечернее солнце и золотые воды: такая сладость была во всём.

Где-то поблизости раздался выстрел. Артём вздрогнул.

Ему не понадобилось много времени, чтоб понять случившееся: оно настигло его разом и наверняка.

Под магазином была тюрьма. Туда сажали за самые злые нарушения режима. И там же время от времени расстреливали.

Расстрел так и называли на Соловках — “отправиться под размах”, что означало: “под “Розмаг””.

Солнце светило, и кричали чайки, и шумел залив.

Артём поискал глазами, куда полетела человеческая душа. Ведь полетела же куда-то?

Леденец был огромный, отвратительный и липкий. Он заполнял весь рот. Артём явственно почувствовал, что у него кусок мыла во рту.

\* \* \*

Его подняли ночью — стук в дверь был ужасным, Артём никогда бы не подумал, что потом можно покрыться так быстро.

Или он спал уже мокрым?

Только присев на кровати, он понял, что если б пришли за ним “вести под размах”, никто б так бережно, хоть и настойчиво, стучаться не стал бы — дверь же не запиралась.

— Кто там? — ссохшимся со сна голосом спросил Артём.

Осип спал как ни в чём не бывало. Он на ночь съел все леденцы, которые Артём ему с удовольствием отдал.

— Это я, — отозвались из-за дверей, не называя имени, но Артём и так догадался: Борис Лукьянович.

Поскорей открыл.

— Артём, извините, Бога ради, но я ничего не могу поделать. Нам надо идти. Собирайтесь немедленно.

— Что такое? — Мало того что Артём был весь взмокший, у него ещё и сердце скакало, как мяч, больно задевая о все рёбра.

— Там приехали какие-то чекисты то ли из Кемпи, то ли даже из Москвы к Эйхманису в гости, — шёпотом сказал Борис Лукьянович, поглядывая на Осипа. “В такую минуту — и боится разбудить этого... сластолюбца...” — мельком подумал Артём, сам ещё не зная, в какую именно минуту и что его ждёт.

— Видимо, начлагеря хвалился им спартакиадой, и они потребовали немедленного развлечения, — объяснил Борис Лукьянович. — Вам придётся участвовать в поединке.

— С кем? — спросил Артём, перестав натягивать штаны. — С чемпионном Одессы? — Хотя сам успел обрадоваться: “...Ну, хоть не расстрел...”

Борис Лукьянович только кивнул.

Дальше Артём одевался молча. В окошко светило ночное соловецкое солнце, замешенное на свете фонарей. Солнце было, как творог, который мать подвешивала в марле, и он отекал бледной жидкостью в подставленную кастрюльку. Цвет этой жидкости был цветом соловецкой ночи.

На улице оказалось свежо, тихо, просторно. Артём подумал, что никогда не видел монастырь ночью.

Чаяк не было вовсе.

С интересом выбежала посмотреть, кто идёт, собака Блэк. Повилила хвостом.

Следом появился олень Мишка, стоявший под рябиной.

“Наверное, гости разбудили наше зверьё, — догадался Артём. — Надо было оставить леденцов олешке. А то скормил всё Осипу...”

— Куда мы идём? — спросил Бориса Лукьяновича.

— В театр, — ответил он. — Там все...

Театр располагался в части бывшего Поваренного корпуса.

Артёма сразу провели в гримёрку.

Он услышал шум на сцене.

— Кто там? — спросили Бориса Лукьяновича.

— Борцы, — коротко сказал он.

В углу гримёрки, закрыв глаза, сидел чемпион Одессы. Лицо у него было бледно и губы плотно сжаты. На челюсти иногда вздувался желвак.

“Он меня убьёт сейчас безо всякого “Розмага”, — спокойно и обречённо подумал Артём.

У зеркала стоял знакомый Артёму гиревик, весь потный и пахнущий. Судя по всему, отработал уже и теперь огорчился тому, как исхудал в последнее время, — таких больших зеркал он давно не видел.

На полу, несколько неуместный, стоял канделябр. “Реквизит, — понял Артём. — Интересно, если сейчас ударить чемпиона Одессы канделябром по затылку, это может как-то повлиять на исход поединка?”

Привели ещё одного артиста — на этот раз циркача.

Он появился в спортсекции только сегодня утром и пообещал подготовить особый номер: разбивание дикого камня на груди атлета.

“А что без камня? — подумал Артём, попытавшись присесть, но сидеть совсем не хотелось. — И без атлета? Чекиста из зала попросит прилечь на минутку? И как охерачит молотом по груди...”

Хотелось пить. Да и то не очень.

— Может, размяться? — предложил Артёму Борис Лукьянович без особого энтузиазма.

— Пожалуй, — сказал Артём и решительно встал.

В темноте закулился он пошёл на шум и полосу противного света: хоть посмотреть, что там.

Там свистели чекисты, а вскоре Артём увидел и борцов: они были голые по пояс и грязные, как чёрт знает что.

Один лежал на животе, поджав под себя ноги и выставив огромный зад, второй силился поднять его, запустив руки под грудь.

Сделав шаг вперёд, Артём увидел и гостей.

Они поставили стол возле сцены. На столе стояли многочисленные бутылки, виднелась нарезанная снедь: зелень, огурцы, колбаса, хлеб.

Человек шесть сидели на стульях. Эйхманис и ещё один, Артёму не известный, стояли возле стола со стаканами в руках.

Эйхманис был в форме, но распаренный и с расстёгнутым воротником. Второй вообще без кителя и заметно более пьяный.

Все были при оружии.

“Господи, зачем я всё это затеял? — затосковал Артём. — Как было просто всё решить, проще не придумаешь — отдавать посылки Ксиве, и всё! Нужны тебе эти посылки? Не сдох бы с голода! Зачем ты сюда вызвался? Ты что, умеешь этот бокс? Ты же ни черта не умеешь!”

— Замолкни! — ответил сам себе вслух.

Пошёл куда-то — надо было куда-то идти, не стоять же на месте.

Только идти оказалось некуда и очень темно к тому же: Артём немедленно налетел на стул, сам едва не упал вместе с ним.

Выпрямился, встряхнулся, почувствовал, как сильно дрожат ноги.

Как передвигаться на этих ногах?

Поднял стул, сел на него. Кажется, так было лучше: в темноте тебя вроде бы и нет, остался один рассудок, но если его погасить, то совсем будет просто.

Попытался вспомнить сегодняшнее, верней, уже вчерашнее стихотворение — ту строчку из него, что какое-то время повторял. Что-то там было про ржавчину и про ноги. Про ржавчину и про ноги. Про ноги и про ржавчину.

“Как это, интересно, может сочетаться? — напряжённно думал Артём. — В одной строчке? Ноги! И ржавчина! И, главное, это несколько меня не удивляло! Но это же кошмар какой-то! Какая-то ерунда! Господи, напхни, что это была за строка! Это ужасно важно! Ничего не получится, если я её не вспомню!”

— Чёрт! — снова окликнул себя вслух Артём. — Чёрт, да перестань же ты, наконец.

Поднявшись со стула, он корил себя молча и злобно.

“А тому, — думал он, — кого застрелили в башку, пока ты ел леденцы, — ему было проще? Ему было легче? Он совсем не волновался? Тебе всего лишь надо выйти на сцену и получить кулаком в морду! Но тебя не убьют! Тебя не расстреляют!”

— Артём! — звал в темноте Борис Лукьянович. — Артём, вы где? Пора!

Снова уронив стул на пол, Артём спешно пошёл на голос.

— Перчаток нет, — суетился Борис Лукьянович рядом со снимающим рубашку Артёмом. — И не привезут. Вот сшили из шинельного сукна, попробуйте.

Артём попробовал. То, что он сам будет бить такими, — ему нравилось. А то, что его, — нет.

Чемпион натянул перчатки совершенно равнодушно.

На Артёма он по-прежнему ни разу не посмотрел.

— Выхода нет. Держитесь. Я буду вместо рефери, — шептал Борис Лукьянович, пока спешили к сцене. — Постараюсь вам подыграть.

— Ну, да, — ответил Артём. — Врежьте ему по печени, что ли, когда никто не видит.

На сцене оказалось чуть светлей, чем хотелось бы, пришлось некоторое время привыкать.

У стола стояло уже четверо чекистов, все, кроме Эйхманиса, краснолицые, мясистые, и все жевали.

Эйхманис пустым стаканом показывал на одесского чемпиона и что-то негромко говорил.

Артём нарочно не прислушивался.

Зато он услышал, как Борис Лукьянович просит его противника:

— ...потяните, а? Хотя бы раунд.

Противник не отвечал, постукивая перчаткой о перчатку. Бой начался, как и предполагалось, ужасно: Артём ощутил себя в центре мясорубки, и то, что он не упал тут же, объективно было чудом.

Выручил Борис Лукьянович, который вмешался при первой же возможности, встав между противниками, снова, негромко, попытавшись сделать внушение чемпиону:

— Я вас прошу, слышите?

Тот просто двумя руками оттолкнул Бориса Лукьяновича, с силой нажав ему на плечи.

— Да и хер с тобой, пёс! — сказал Артём чемпиону.

Тот никак не откликнулся, казалось, что он слабо понимает русскую речь.

“Отстоял полминуты — и хватит!” — отчаянно решил Артём и кинулся навстречу своему позору.

Через семь секунд с кратким восторгом он понял, что ему удалось нырнуть и уйти от удара, который сбил бы с плеч башку, как переспелую грушу. До чемпиона он не достал, но хотя бы ретиво изобразил попытку.

Держать противника на расстоянии вытянутой руки не получалось — тот легко пробивал длинный удар хоть с трёх шагов.

Артём старался изо всех сил и чувствовал своё поразительное бессилие.

Снова вклинился Борис Лукьянович.

— Эй! — заорал кто-то с места. — Уйди! Фёдор, пусть он, бля, не лезет! Только мешает!

Эйхманис улыбнулся кричавшему и скомандовал:

— Борис, уйдите в сторону пока. Это же не соревнования!

Артём, упираясь руками в колени, пытался отдышаться, исподлобья глядя на чемпиона, который ровно стоял на месте и, похоже, нисколько не сбил дыхания.

Борис Лукьянович кивнул Артёму напоследок: делать нечего, теперь сами.

Артём ещё раз посмотрел в зал и вдруг увидел до сих пор не замеченную Галину. Она сидела поодаль, держа в руке яблоко. Выражения её лица было не разглядеть.

Дальнейшее Артём помнил только урывками.

Появилось лицо чемпиона, кто-то крикнул с места: “Давай!” Артём, пряча голову и пропуская удар за ударом, снова бросился вперёд с твёрдым намерением выгрызть этому подонку глотку, он точно заметил, что у него получилась один удар — снизу, в подбородок, — так что чемпион ступил шаг назад и тряхнул головой, словно пытаясь поставить глаза на место, и, похоже, поставил.

Потому что дальше Артём видел только потолки и свет кругами.

Удара он не заметил.

Сначала свет был под веками, и круги были красные.

Потом он открыл глаза, и круги остались, только превратились в жёлтые. Сцена под ним плыла.

\* \* \*

Чекисты орали, как большие, мордастые и пьяные чайки, и голоса у них были довольные.

Артём различил голос Эйхманиса, тоже довольный и возбуждённый.

— Да у них и вес разный! Он тяжелей! Этот легче! Но стоял же! — горючил Эйхманис.

— Стоял-стоял, — ответили в тон Эйхманису. — А потом лежал.

Все захохотали.

Раздалось чоканье.

Борис Лукьянович помог Артёму подняться.

— Ничего, — повторял он. — Ничего-ничего. Очень даже ничего.

Галины в зале уже не было, заметил Артём. Чекистов вообще стало меньше, как будто бы двое или трое вышли. Может, покурить...

— Борис, Артём, спускайтесь сюда, поешьте. Позовите борцов, циркача... — позвал Эйхманис.

— Спасибо, мы... — извиняющимся тоном начал Борис Лукьянович, но Эйхманис просто, словно бы удивлённый, откинул назад голову: “Что?” — и Борис Лукьянович, даром что близорукий, тут же побежал в гримёрку.

Артёма чуть подташнивало.

— Я только рубашку надену, — сказал он Эйхманису.

— Давай, давай, — ответил тот, улыбаясь.

Когда Артём вернулся, все, кроме одесского чемпиона, уже стояли возле стола. Никто ничего не трогал.

— Наливайте себе, — предложил Эйхманис борцам. — А где этот? Скорострельный? — спросил у Бориса Лукьяновича.

— Умывается, сейчас подойдёт, — соврал тот: Артём видел, что чемпион сидит в гримёрке на своём месте, закрыв глаза.

Борцов уговаривать не пришлось, циркач так вообще налил себе стакан вклень, хотя, когда он успел выступить, Артём и не помнил.

— За будущую спартакиаду! — сказал самый крупный чекист, протягивая стакан Эйхманису. — Смотр показал, что... — фразу он не закончил и выпил одним глотком без малого полный стакан.

Эйхманис, в отличие от своего гостя, чокнулся с каждым из лагерных спортсменов и каждому что-то сказал:

— А красиво было... Как вы это делаете?... Борис, спасибо, всё неплохо... Артём, я понимаю, с кем вы имели дело! За вашу дерзость! Чекисты знают цену дерзости. Она порой стоит очень дорого! Тем более вы чуть не сбили его с ног.

Артём ещё не пришёл в себя толком и никак не мог сообразить, что ему думать о себе и своём поражении: это был полный позор или всё-таки нет?

— Ну, угощайтесь здесь, — сказал Эйхманис на прощание, и чекисты пошли прочь. Только самый крупный, пройдя пять шагов, вернулся и забрал со стола непечатую бутылку.

— Да у меня там... склады, — засмеялся Эйхманис. Глаза его при этом были неподвижны.

— Упыются ещё, — ответил тот. — Слишком жирно ты их.

Артём заметил взгляд Бориса Лукьяновича — он смотрел на говорившего с ненавистью. В руке у него был стакан водки, даже не пригубленный.

— Вот я перечисляю, — продолжал Эйхманис, дождавшись чекиста с бутылкой и уходя вместе с ним. — Борьба. Бокс. Гимнастические упражнения на брусьях и турнике, там тоже есть мастера. Футбол. А в финале — пирамида из всех участников...

Борис Лукьянович с облегчением поставил стакан на стол.

— Не будешь, Лукьяныч? — спросил его один из борцов.

На столе, помимо огурцов и колбасы, обнаружилась плошка красной икры и плошка чёрной, в банке из-под какао виднелось топленое масло — вообще не тронутое.

Артём уже знал, что, если топленое масло намазать на хлебушек да посолить, оно будет вкусней сливочного.

Соль тоже была.

Он урвал себе краюху хлеба и намазал её маслом слоем чуть не в палец, сверху — чёрной икрой, а по ней — красной, засыпал всё зеленью и украсил огурцом. Огурец был покусанный чекистами, но это показалось неважным.

— Ещё по одной? — предложил циркач.

Выпили, только Борис Лукьянович снова пропустил; он и не ел ничего, скатал себе хлебный шарик и держал в пальцах.

— Лукьяныч, ты чего? — спросил его один из борцов, уже охмелевший.

— Да я сытый, — ответил тот мягко, но Артём видел, что он брезгует.

Артём вспомнил, что, когда Борис Лукьянович его поднял и он уселся на сцене, вслед за жёлтыми кругами появилось лицо чекиста, который черпал красную икру из плошки рукой — и облизывал потом пальцы.

“Ну, и что...” — сказал себе Артём, откусывая хлеб, собирая свободной рукой икринки, попадавшие на рубаху.

— Я пойду... отнесу в гримёрку ему... — сказал Борис Лукьянович, набирая колбасы — хлеба уже не было.

“А я ведь пьяный”, — с удовольствием подумал Артём; он не запомнил вкуса ни первого стакана водки, ни второго, но тут вдруг пришла обратная волна, и сразу стало весело и душевно, и в груди образовался ватный, щекотливый, ласковый клубок, и захотелось кого-нибудь обнять, и чтоб случилась хорошая песня...

Водка кончилась после третьего разлива, икру из плошек едва ли не вылизали, зелень подъели до последнего лепестка.

Вышли на улицу — солнце покачивалось и дрожало.

Где-то возле кремлёвских ворот раздавались голоса чекистов — они громко матерились, и кто-то кого-то успокаивал.

В келье Артём нарочно вёл себя шумно, надеясь разбудить Осипа, но безрезультатно.

— Как бы хорошо водочки сейчас ещё рюмку, — сказал Артём вслух. — Или пару пи-и-ива... А, Осип?

Осип даже не шевелился.

Это славное настроение как пришло, так и оставило Артёма в один миг.

Он вдруг ощутил себя избитым, обиженным, взбешённым и жалким одновременно.

— Ненавижу проигрывать! — сказал Артём вслух; он был пьян, от него разило перегаром, и он презирал сам себя. — Ненавижу! Заплатить Ксиве, чтоб зарезал его? Закончился мой кант! Только начался и сразу закончился! Пусть его Ксива зарежет...

Артёма резко начало тошнить, и он поскорей завалился набок, чтоб уберечь всё то, что доел за чекистами.

Не было сил раздеться. Хотелось плакать.

Артём поискал рукой в мешке возле кровати и достал присланную мате-рюю подушку. Засунул её под сердце, зубами прикусил покрывало, дышал носом, чувствуя влагу под веками.

Всё вокруг было сырое, клубился чёрный туман, в тумане Артём едва различал самого себя, сидящего на кочке посреди огромной воды.

“Если сдвинуться — сразу упаду в воду, утону”, — понимал Артём.

Раздался плеск.

Из тумана выплыла лодка: сначала её нос, потом мягко, беззвучно про-скользил борт, и Артём увидел старика, стоящего в лодке. В руках у стари-ка было весло.

Лица его было не различить, только бороду, высокий лоб и, кажется, не-зрячие глаза.

Длинная одежда его понизу была сырой.

В самой лодке плескалась грязная вода. Старик стоял в ней едва не по колено.

“Куда на такой? Утонем...” — подумал Артём. Взял лодку за борт — и с силой подтолкнул её, чтоб плыла дальше.

И остался сидеть один.

\* \* \*

Эйхманис был весёлый, с лёгкого похмелья. По глазам было видно, что он лёг спать под утро, встал бодрый и деятельный часов в десять, немедлен-но выпил водки, а когда провожал гостей — выпил ещё, прямо на причале.

Он прискакал к спортсекции, посмотрел, как достраиваются площадка и здание, спрыгнув с коня, о чём-то поговорил с Борисом Лукьяновичем.

— О, Артём, — заметил Эйхманис. — Хорошо дрался. Я хотел, чтоб ты победил.

Артём почувствовал запах алкоголя — только не застоявшийся и старый, а свежий, ядрёный, как со дна зимней капустной бочки.

— Дело в том, что Артём вышел как замена, — начал пояснять Борис Лукьянович. — У нас есть теперь другой противник в тяжёлом весе...

— Английский шпион который, Роберт? — спросил Эйхманис.

— Да, Роберт.

— А в среднем весе никого? — быстро спросил Эйхманис, глядя на фут-болистов.

— Пока нет. Но Артём мне нужен при спортсекции, — поспешил доба-вить Борис Лукьянович, не понимая, куда клонит начлагера.

— Да ладно, сами справитесь, раз так, — сказал Эйхманис.

Артём похолодел: решалась его судьба, и, кажется, не в его пользу.

Борис Лукьянович молча смотрел на Эйхманиса.

— Со мной поедет сегодня, — отрывисто сказал Эйхманис. — В коман-дировку. Мне нужны смыслённые, но не каэры. Товар не очень частый! — он засмеялся и тут же чуть скривился: похоже, выпил он вчера много, и по-хмелье иногда наступало.

— Так что нам делать? — спросил Борис Лукьянович.

— Вам? — переспросил Эйхманис со своими характерными начальст-венными модуляциями, от которых сразу становилось чуть не по себе. — Ни-чего, занимайтесь. Артём, идите в свою роту, соберите вещи и ждите на ули-це. Мне ещё нужно пару человек забрать. Говорят, какие-то чертёжники бы-ли в двенадцатой роте? Кабир-шах?

— Да, есть такой, — ответил Артём, лихорадочно пытаясь решить, что случилось: хорошее или дурное?

Гикнув, Эйхманис умчался в сторону кремля.

— Даже не знаю, что и думать, — сказал Борис Лукьянович.

Артём молча подал ему руку, попрощался и пошёл.

Осипа в келье не было.

Разделил имевшиеся деньги на две части: одну с собой взял, другую свернул в трубочку и засунул в материнскую подушку, туда, где нитки разошлись...

Подумал, брать или не брать сухпай.

Остановился на том, что взял картошки, и моркови, и соли в коробке, и чая. Скрутил из куска ткани котомку, разложил всё, завернул и приспособил эту котомку на плечо, связав её концы в узелок.

Сменную одежду брать не стал, только пиджак повязал рукавами на пояс и кепку натянул на случай дождя.

Будет удача — накормят и спать положат под крышу.

А не будет удачи... значит, не повезло.

“А кант — он всё равно ко мне вернулся”, — догадывался Артём, всё ещё боясь спугнуть своё везение.

Спел тихонько: “Не по плису, не по бархату хожу, а хожу, хожу... по острому...”

На улице сразу определил, куда идти: у водоосвященной башни стояли Кабир-шах и его брат Курез-шах, Митя Щелкачов и ещё один незнакомый молодой лагерник.

Чуть поодаль перетаптывался Ксива.

Артём, не обращая на него внимания, кивнул Мите, подошёл к башне и сел на травку.

Эйхманиса ждать долго не пришлось — снова, похоже, выпивший грамм сто, он появился на этот раз пеший, зато в сопровождении Галины и двух красноармейцев, и осмотрел собравшихся.

Все немедленно подтянулись, Артём тоже, естественно, поднялся, заметив, что Ксива исчез, как и не было.

— Здра, гражданин нача... — попытался заорать Щелкачов, но Эйхманис отрезал рукой: не надо.

— Подвода у ворот, грузимся, — скомандовал один из красноармейцев.

— Я его ищу уже несколько дней, — кивнув на Артёма, сказала Галина негромко, но он услышал.

— Что-то срочное? — спросил Эйхманис.

Галя сделала бровями: почему мы обсуждаем это при заключённых.

— Да куда он денется, — отмахнулся Эйхманис. — Потом закончишь свою работу. А то я свою гоп-команду амнистировал. Не с кем мне...

Начлагеря явно торопился отвязаться от своей подруги, догадался Артём. Он шёл медленно к подводе, ожидая, что его окликнут и вернут.

Но этого не случилось.

Когда садился на подводу, увидел, как Галина с недовольным лицом идёт в сторону ИСО.

Кто-то из шедших по двору лагерников не поприветствовал Эйхманиса как положено, и он, минуту назад пребывавший в благодушном настроении, вдруг закричал в натуральном бешенстве:

— Кто? Кто такие? Рота? Не слышу! Командира роты ко мне!

Стоявший ближе всех красноармеец тут же помчался бегом, ещё не понимая, куда бежит.

Лагерники стояли побледневшие, глядя на Эйхманиса вытаращенными глазами.

Начальник роты благоразумно не нашёлся, зато объявился командир взвода и был схвачен за ворот Эйхманисом.

— Что за дисциплина у вас? — кричал он хорошо поставленным, с яростным хрипом голосом. — Они не знают, как приветствовать начлагеря? Что у вас творится в роте? Слушать мою команду! Начальника роты перевести рядовым в тринадцатую! Этих всех в карцер! Роту после работ — на построение и три часа строевой подготовки!

“Вот так вам, имейте привычку приветствовать начлагеря, ага...” — размышлял Артём, поудобнее устраиваясь на подводе.

Он думал всё это не то чтобы всерьёз, а скорей с некоторой усмешкой над самим собою. Но всё-таки — думал.

И не стыдился себя.

Работой они занялись неожиданной и странной.

Сначала по дамбе, построенной ещё монахами, попали на остров Большая Муксольма. Там со времён игумена Филиппа, подалее от монастыря, разводили скотину. Эйхманис традиции не стал нарушать: издали был слышен бычий рёв, виднелись огромные скотные дворы, пахло.

— Куда мы направляемся, не знаете? — шёпотом спросил у Артёма Митя Щелкачов.

Артём пожал плечами.

— В любом случае, — сказал, помолчав, — волноваться причин не вижу. Едва ли нас в сопровождении Эйхманиса повезут на тайные соловецкие рудники.

Митя улыбнулся, но озираться не перестал.

Эйхманис то уезжал далеко вперёд, то возвращался назад; заметил у дороги рябину и подъехал на коне сорвать гроздь.

Артём подумал-подумал и тоже, подождя, когда Эйхманис ускачет, спрыгнул с подводы, добежал до рябины. Хотя сомнения были: после начлагеря рвать ягоды... в этом имелся некоторый вызов...

“Это ж не его рябина...” — уговаривал себя Артём, догоняя подводу и видя, как хмуро смотрят на него сопровождающие начлагеря красноармейцы.

Раздал всем по несколько ягод. Митя, весь кривясь, прожевал одну, а Кабир-шах и Курез-шах не решились: так и держали в руках, иногда прищипываясь к ягодам.

На скотные дворы не заехали, только оставили там подводу. Окончательный путь их лежал на остров Малая Муксольма.

Эйхманис снова пропал куда-то.

Был отлив, и с Большого на Малый добирались пешком, по каменистому дну.

Все с интересом смотрели себе под ноги.

Артём, не сдержавшись в своём мальчишестве, время от времени подбирал маленькие камни и тут же их бросал.

Было заметно, что Щелкачов хочет сделать то же самое, но не решается.

Слева виднелась гора Фавор; Артём едва ли не впервые находил сумрачные соловецкие виды красивыми. Подсыхающая, поломанная высокая трава, редкие валуны в траве, еловый перелесок...

На острове было всего три хаты и часовня.

Эйхманис сидел на пенке возле одной из хат. Рядом с ним стоял бородатый старик, по виду — из бывших монахов. Они разговаривали — очень неспешно. По манере разговора было ясно, что виделись они не впервые.

Лошадь Эйхманиса, непривязанная, неподалёку ципала травку.

В позе старика не наблюдалось подобострастия.

Похоже, местный надзиратель о приезде Эйхманиса предупреждён не был и распознал гостей с заметным запозданием.

Он выбежал в рубахе, направляя её на ходу, только когда заметил лагерников и красноармейцев — начлагеря он проглядел.

— Надзиратель Горшков... — издали начал служивый, подбегая к Эйхманису.

Эйхманис, недовольно скривившись, показал ему рукой, чтоб замолк, и тут же сделал в воздухе круговое движение пальцем: мол, разворачивайся и следуй, откуда явился.

Горшков, споткнувшись на бегу, встал и мгновение думал, как быть. Не найдя иного выхода из ситуации, развернулся и еле-еле двинулся назад, втайне ожидая, что его окликнут.

— Досыпай, — сказал начлагеря вслед надзирателю.

— Я не спал, гражданин Эйх... — резко обернувшись, начал тот, вращая маленькими глазками, но Эйхманис повторил короткое рубящее движение ладонью, будто отрубая любую речь, обращённую к нему, помимо монашеской.

Надзиратель растерянно двинулся дальше, но и спина, и затылок его по-прежнему выдавали мучительное ожидание хоть какого-то приказа начальства.

— Горшков! — смилостивился Эйхманис. — ...Определи людей.

Надзиратель поспешно вернулся и шёпотом указал красноармейцам на третью хату, а всех остальных повёл к старику.

Артём, уже усевшийся прямо на траву, поленился суетиться — а то он дверей в хату не найдёт!

“Эйхманиса Горшков к себе хочет пригласить”, — догадался Артём.

Что-то ему подсказывало, что спешить некуда. Изредка он отрывал по одной рябиновой яголке и долго потом катал её во рту, с зуба на зуб, будто потешаясь.

— Эй, пойдём, — позвал Артёма Горшков, явно постеснявшись при Эйхманисе назвать заключённого шакалом, как то было принято.

Артём сделал вид, что поднимается.

Горшков отвернулся, и Артём уселся на место.

Старик полез в карман своих задубелых штанов, достал оттуда трубочку и кисет с махоркой.

— Всё дымишь, тюлений староста? — поинтересовался Эйхманис, внимательно глядя на руки старика.

— А чего остаётся делать, хоть так смрад перебить! — без улыбки ответил старик.

Эйхманис в своей манере кивнул.

Артём подумал, что этот кивок может означать всё что угодно: то, к примеру, что начлагеря ценит стариковское остроумие, или то, что предлагает ему ещё поговорить, пока его не отправили “под размах”, где старику самое место.

Эйхманис посмотрел на Артёма, и тот на мгновение пожалел, что не ушёл, однако теперь уже было поздно шевелиться.

Начлагеря смотрел так, словно вдруг различил Артёма среди окружающей их природы.

— Отец Феофан, — сказал Эйхманис, не сводя с Артёма глаз, — а вынеси-ка нам пару кружечек.

Артём не опускал взгляд и смотрел в ответ прямо и спокойно, чуть улыбаясь.

“Так странно в устах Эйхманиса слышать это “отец Феофан”, — думал Артём медленно, не двигаясь с места. Сейчас должно было что-то произойти.

— Достань-ка, — сказал Эйхманис красноармейцу.

Тот развязал привезённый с собою мешок и достал оттуда бутылку водки.

— Закусить? — спросил негромко.

Эйхманис еле заметно и с лёгким нетерпением качнул головой, что читалось как: нет, давай быстреей.

Отец Феофан вынес две кружки, нацепив их дужками на замечательно длинный и словно бы прожаренный указательный палец, который к тому же венчался костяным и загнутым ногтем.

Он так и подставил кружки под водку, не снимая их с пальца.

И лишь когда каждая была наполнена до краёв, бережно стянул крайнюю и передал Эйхманису.

— Артём, иди-ка... — позвал начлагеря. — А вам не положено, бойцы, — добавил он, глядя на красноармейцев, хотя те и не надеялись на такую компанию.

Артём с внешним спокойствием принял приглашение, хотя внутри у него всё ликовало.

— А Феофан у нас не пьёт, — добавил Эйхманис, поднимая сощуренный взгляд на старика. — ...Или запил?

Старик не улыбнулся и не ответил, лишь коротко и неопределённо качнул головой.

— Знаю я вас, монахов, — сказал Эйхманис. — Вы тут всегда брагу готовили из ягод. Грешники!

— А было дело, — спокойно ответил отец Феофан. Эйхманис залпом выпил свою кружку, не чокнувшись с Артёмом. Затем, не глядя, протянул руку — Артём быстро догадался о смысле этого движения и подал гроздь рябины. Эйхманис, удовлетворённо кивнув, отщипнул одну ягоду и закусил ею.

Артём тоже выпил, не закрывая глаз, — нельзя было хоть что-то пропустить.

Эйхманис поднял пустую кружку, и тут уже отец Феофан догадался, что делать, и подставил длинный палец. На него начлагеря вновь надел кружку.

— Двадцать пять лет на Соловках, — кивнул на Феофана Эйхманис, обращаясь к Артёму. — Четвертной ведь? — Отец Феофан согласно моргнул тяжёлыми веками. — Четыре года монашествовал в монастыре, а потом перебрался сюда... на Малую Муксольму... Отстроил себе хату и начал... совмещать труды молитвенные... — здесь Эйхманис сорвал ещё одну ягоду с грозди Артёма и бросил её в рот, — с рыболовством и охотой на морского зверя... И когда появились большевики, места своего не покинул, разве что вдруг начал курить махорку. Мы ему, — улыбнулся Эйхманис не столько даже Феофану или Артёму, сколько славному алкогольному теплу у себя в груди и в голове, — как специалисту, определили восемнадцать целковых жалованья... Занимается он всё тем же, что и прежде: рыбачит, охотится, поставляет рыбу на соловецкую кухню и тюленьё мясо в сельхоз. Нашим свиньям на прокорм. Поэтому зову я его “тюлений староста”. А он откликается. В часовню так и ходишь по сей день, тюлений староста?

— А чего ей пустовать, — просто ответил отец Феофан.

— Горшков-то хоть с тобой молится? — поинтересовался Эйхманис.

— Не замечен, — ответил отец Феофан, рассмешив начлагеря: Эйхманис от души захохотал.

Смех у начлагеря был не очень приятный, но Артём тоже засмеялся — чуть тише, чем Эйхманис, но чуть громче, чем стоявшие рядом красноармейцы.

— Иди, Артём, определяйся, — сказал Эйхманис.

В хате у Феофана вся утварь была самодельной. В красном углу имелся целый иконостас: “Купина неопалимая”, “Сосновская”, “Утоли моя печали” и несколько “Казанских”. На стенах сушили тюленьи шкуры. Пахло там тяжело, душно, зато не человеком — и то хорошо. Иконы во всём этом неистребимом и тяжёлом рыбьём духе производили странное впечатление: Артём подумал, что если самую маленькую “Казанскую” перенести отсюда в другой дом, то этот дом за час весь пропахнет рыбьим духом. Из самого дальнего сундука, с самого его дна, достанешь кружевные манжеты — и вздрогнешь: как будто в них рыба наряжалась на свои рыбы праздники.

...Отдохнуть им не дали — да и с чего было отдыхать, когда за работу не принимались ещё.

До самого вечера лагерники рыли ямы там, где указывал Эйхманис.

Сначала в одном месте всё перелопатили, потом сдвинулись на полкилометра — и занялись тем же самым.

Назначение Курез-шаха и Кабир-шаха выяснилось очень скоро: оказалось, что они оба чертёжники. Им выдали метр, бинокль, старую карту и отправили без конвоя изучать местность: судя по всему, для создания карты новой и самой подробной.

Артём работал расторопно, быстро, даже с удовольствием и усталости не ведал. Эйхманис это заметил — Артём точно знал, — и оттого стал работать ещё лучше.

Митя Щелкачов, напротив, постоянно уставал — парень он был петроградский, книжный, к работе непривычный.

Третий же лагерник, хоть и совсем молодой, тоже отличался крестьянской хваткой и тихим, ненадрывным постоянством в труде. Звали его Захаром.

Чем все они занимаются, Артём догадался, когда солнце уже садилось, а мокрая от пота спина начала стынуть.

Они искали старые монастырские клады.

Догадался и никому не сказал...

— Здесь всегда была живодёрня, поэтому монахи и не ушли — им привычно! — Эйхманис засмеялся, проваяя взглядом отца Феофана.

Обедать вместе со всеми отец Феофан не стал: поблагодарил и сослался на то, что нужно идти проверять снасти.

Эйхманис не уговаривал.

Похоже, что Эйхманис запил, хотя запой этот был необычный и ничем не напоминал Артёму отцовское мрачное пьянство.

С первого взгляда признаков того, что начлагеря пьёт, было не обнаружить, разве что кожа стала бледнее, а глаза — тяжелей. Речь оставалась стройна, удивляло лишь то, что говорил он заметно больше.

Теперь они сидели на берегу и вкушали яства: Артём, двое красноармейцев, лагерники...

Артём сидел к Эйхманису ближе всех.

Красноармейцы благоразумно держались поодаль и время от времени недовольно поглядывали на Артёма: тот за прошлый день освоился окончательно. Замечая непорядок на скатерти, Артём щедро нарезал то колбасы, то зелени. Его самоуправство красноармейцам не нравилось, и нож в руке Артёма — тоже. Но одёрнуть лагерника, когда тот самим начлагеря усажен обедать, было неуместно.

Эйхманис время от времени кивал ему на пустые стаканы, и тогда Артём разливал водку — себе и Фёдору Ивановичу. Остальные то ли сразу отказались, то ли им и не предлагали.

Курез-шах и Кабир-шах вообще не решались сидеть у самобраного стола в присутствии начлагеря и то неловко присаживались на корточки, то, при малейшем движении Эйхманиса, вставали.

Даже когда он начинал говорить, они поднимались, словно и представить себе не могли, что такого большого начальника можно слушать сидя.

Эйхманис это видел краем глаза и, похоже, веселился, но вида не подавал.

Щелкачов и другой молодой лагерник тоже постарались присесть так, чтоб и Эйхманису не загораживать вид на воду, и красноармейцев своей близостью к начальству не раздражать.

Время от времени Артём на правах непонятно кого брал со скатерти кусок колбасы, огурец, ломоть хлеба — и передавал кое-что Мите.

Митя делился с товарищем, и они очень медленно, молча жевали.

К алкоголю Артём был устойчив; если его и пьянило что-то, так это восхитительная бредовость самой ситуации.

Ужасно хотелось, чтоб это увидели все. И Артём мысленно перечислял, кто эти все: Афанасьев... Бурцев... Сивцев... казак Лажечников, если он не помер... Мезерницкий... Моисей Соломонович... чеченцы и блатные... Граков, конечно. Кучерава и Крапин... доктор Али! И эта сука Галина тоже...

Почему-то не хотелось, чтобы свидетелями происходящего стали Осип и Борис Лукьянович, но Артём не стал размышлять на эту тему и просто мысленно удалил их из числа свидетелей ширшества.

Под вопросом оставался также Василий Петрович, и Артём в своих блаженных размышлениях то сажал его напротив, то убирал прочь.

Пожалуй, впервые за всё время отбывания своего срока Артём был настоящим счастливым. И это солнце ещё, прямо в глаза. И весь он пропах копчёной колбасой — ею он, стараясь не отдавать себе в этом отчёт, не спешил угощать Щелкачова и лакомился сам, млея от натурального наслаждения.

Красноармейцам, кроме всего прочего, тоже, видимо, хотелось колбасы, но не будешь же пред Эйхманисом ходить туда-сюда и побирушничать со скатерти: взяли себе по яичку и рыбине — и будьте довольны, товарищи бойцы.

Сам Эйхманис ел мало, водку закусывал то укропом, то петрушкой и, щурясь на солнце, говорил:

— Монастырь — 509 трёхаршинных сажен по кругу, высота — девять метров, ширина — шесть. Восемь башен. Твердь!.. Монах-зодчий сделал каменные ниши в городской стене и внутри башен; сначала их хотели приспособить

сбить под погреба для пороха и снарядов, но раздумали и сделали по-другому. Эти ниши предназначались узникам! Ниша — два аршина в длину и три в ширину. Каменная скамейка — и всё. Спать — полусогнутым! Окошко — три рамы и две решётки. Вечный полумрак. Ещё и цепью к стене... Дарственные манифесты на соловецких сидельцев не распространялись: никаких амнистий!.. Переписка с родными была запрещена! Сроки были такие — “навечно”, “впредь до исправления” и “до кончины живота его никуда и неисходно”. А? “Нигуда и неисходно”!

Эйхманис дожевдал петрушку вместе со стебельком и цыкнул зубом.

— А ещё земляные тюрьмы! — негромко и внятно говорил он, обращаясь к Артёму, хотя Артём чувствовал, что Митя Щелкачов, сидящий позади него, тоже слушает изо всех сил. — Знаешь, как они выглядели? Потолок — это пол крыльца. В потолке щель — для подачи еды. Расстригу Ивана Буяновского посадили в 1722 году — Пётр посадил, — а в 1751-м он всё ещё сидел! Под себя ходил тридцать лет! Крысы отъели ухо! Караульщик пожалел, передал Буяновскому палку — отбиваться от крыс, — так караульщик били плетью!.. Земляная тюрьма, огромная, как тогда писали, “престрашная, вовсе глухая”, имелась в северо-западном углу под Корожанской башней. Под выходным крыльцом Успенской церкви — Салтыкова тюрьма. Ещё одна яма в земле — в Головленковской башне, у Архангельских ворот. Келарская тюрьма — под келарской службой. Преображенская — под Преображенским собором... Кормили как? Вода, хлеб, изредка щи и квас. Настаивали при этом: “Рыбы не давать никогда!”

Артём посмотрел на скатерть и на всякий случай взял рыбий хвост, присосался к нему, уважительно косясь на Эйхманиса.

— Знаешь, что дальше было? — говорил Эйхманис. — Синод запретил земляные тюрьмы — жестоко! А соловецкие монахи не засыпали их! А зачем? Удобно! Парашу выносить — не надо!.. Я говорю: здесь всегда была живодёрня! Нашему отцу Феофану оказалось некуда идти! Соловки тюрьмой не напугаешь.

Артёма так и подмывало спросить: если раньше была живодёрня, значит, Фёдор Иванович считает, что и сейчас она осталась такой?

Но не спрашивал — не дурак.

Приехал на лошади Горшков, тяжело спустился на землю.

По нему было видно — не меньше полночи провёл с Эйхманисом за одним столом.

— Садись, Горшков, — сказал Эйхманис.

Тот присел, удивлённо скосившись на Артёма, на этот раз без спроса разлившего водку.

Горшков был, как большинство других чекистов, мордастым, крепким типом. Щёки, давно заметил Артём, у их породы были замечательные: за такую щёку точно не получилось бы ущипнуть. Мясо на щеках было тугое, затвердевшее в неустанной работе, словно эти морды только и занимались тем, что выгрызали мозг из самых крепких костей.

— Я знаю, о чём ты думаешь, — сказал Эйхманис Артёму, снова выпив не чокаясь и на Горшкова никакого внимания не обращая. — Ты думаешь, чем наш порядок отличается от порядка прежнего? Ответ знаешь или сказать?

— Знаю, — сказал Артём.

— Вот как? Говори, — велел Эйхманис.

Горшков — и тот повёл щекою в сторону Артёма.

“Неправильно скажу — перекусит глотку, — понял Артём. — Зажарят и сожрут”.

— Здесь не тюрьма, — твёрдо ответил Артём. — Здесь создают фабрику людей. Тогда людей сажали в земляные ямы и держали, как червей, в земле, пока они не подышали. А здесь даётся выбор: либо становишься человеком, либо...

— Ага, либо мы тебя перемелем в порошок, — добавил Эйхманис. — Ты действительно так думаешь?

Артём даже протрезвел. В ушах у него стоял лёгкий звон. День вокруг тоже звенел: всеми деревьями, движением воздуха, птичьими голосами.

Красноармеец сломал неподалёку сук: он готовил костёр.

— Я думаю, у вас тут государство в государстве, — сказал Артём. — Свои владения, свой кремль. Свои палаты, свои монахи. Своя армия, свои деньги. Своя газета, свой журнал. Своё производство. Свои парикмахеры и гетеры. Свои палачи, — здесь Горшков дрогнул щекой и перевёл взгляд на Эйхманиса, но тот не реагировал. Артём продолжал: — Свои театры, служащие и, наконец, заключённые... При въезде, я слышал, заключённым кричат: “Здесь власть не советская, а соловецкая”. Это правда. Религия здесь общая — советская, но жертвоприношения — свои. И на всём этом вы создаёте нового человека. Это — цивилизация!

Артём замолчал и сидел, глядя на скатерть, не решаясь поднять глаза на Эйхманиса. Но неожиданно тот засмеялся:

— И язык ещё, да? Свой язык здесь возникает понемногу, — неясно было, шутит Эйхманис или нет, и Артём на всякий случай кивнул. — Смесь блатного и дворянского, большевистского новояза и белогвардейского словаря, языка театралов и проституток. “Всё смешалось: фрак, армяк и блуза!” Может, Курез-шах и Кабир-шах что-нибудь подкинут нам. А, невинные жертвы большевистской диктатуры?

Курез-шах и Кабир-шах закивали головами.

Эйхманис несколько секунд с видимым удовольствием наблюдал это беспрекословное согласие, потом разом стал серьёзным и, повернувшись к Артёму, чётко продолжал:

— У нас здесь свои классы, своя классовая рознь и даже строй особый, думаю, родственный военному коммунизму. Пирамида такая: сверху мы, чекисты. Затем каэры. Затем бывшие священнослужители, попы и монахи. В самом низу — уголовный элемент, основная рабочая сила. Это наш пролетариат. Правда, деклассированный и деморализованный, но мы обязаны его перевоспитать и поднять наверх.

— Почему каэры так высоко, товарищ Эйхманис? — вдруг подал голос Горшков.

— Кто руководит наукой? — быстро ответил Эйхманис. — Буржуазная интеллигенция и бывшие контрреволюционеры. Кто играет в театре? Они же. Кто организует занятия в клубе, кто организует воспитательную работу в кружках, кто читает лекции?..

Эйхманис отвернулся от Горшкова и завершил мысль, глядя в глаза Артёму:

— Это не лагерь, это лаборатория!

\* \* \*

Проснулся Артём ночью с тем замечательным чувством, когда ты не знаешь, где спишь, но помнишь, что ничего страшного, кажется, не происходит — и даже напротив.

В хате была полутьма, но через минуту Артём смог различить глаза Казанской Божьей Матери, не моргая наблюдающей белую ночь.

Переступив через Митю и Захара, пошёл во двор. Заслышав шум, сразу проснулся и сел Кабир-шах: в полумраке были заметны его напуганные белки.

“...Сияет, что твоя Казанская, нехристь”, — иронично подумал Артём, а вслух сказал:

— Это я, спите. Ночь ещё.

У Горшкова опять светилось окно, похоже, приоткрытое: голоса доносились очень явственно, правда, кто и что говорит, было так сразу не понять, зато частый хохот был ясно различим: это Эйхманис смеялся — лающе, резко, будто издевательски.

Забыв, где тут отхожее место, Артём помочился на угол.

“Как собака...” — подумал он, зевая.

Голова была особенно ясная: вышитое не застаивалось в теле — копал, потел, многопил воды, а под вечер даже искупался, хотя вода была по-осеннему холодная...

На обратном пути вздрогнул: возле хаты стоял отец Феофан. Если б тот не прикурил свою трубочку, Артём так бы и прошёл мимо: настолько монах напоминал что-то не совсем живое, вроде, к примеру, дерева.

“Чёрт, неудобно, — подумал Артём. — Наверняка слышал, как я тут... на угол... Кто мне мешал отвернуться и поссать на траву? Ей-богу, придурок”.

— Доброй ночи, — хрипло сказал Артём и убил на щеке комара.

— Доброй, — спокойно ответил бывший монах.

— Слушайте, отец Феофан, — обрадовался Артём, что с ним разговаривают, и сам тут же простил себе своё скотство — молодость легка на такие штуки. — А Эйхманис — правда он ищет клады?

— Разве то секрет? — ответил старик. — Ищет везде. Все Соловки уже перерыл. И здесь ищет. И спрашивает у меня, где лучше искать.

— А что ты сам не нашёл, отец Феофан? Раз советы даёшь — так искал бы.

— А зачем мне? Я никуда отсюда не собираюсь. Вынешь золото на свет — оно с тебя спросит, зачем ты его достал. У меня и другого спроса хватает. А Эйхманис спросу не боится. Пусть себе ищет.

— Феофан! — крикнули из окна хаты надзирателя, и Артём узнал по голосу Горшкова.

В то же мгновение Артём догадался, что старик только что вышел из горшковской хаты — как бы покурить, но на самом деле хотел сбежать к себе, так как тяготился ночным общением с чекистами. От старика веяло не соловецкой ночью, а человеческим бодрствованием, и одежда его пахла не воздухом и вечером, а людьми и вином.

“...Как собака, — снова успел подумать Артём, — всё чую, как собака...”

— Ай? — откликнулся отец Феофан.

— С кем ты там гутаришь? — спросил Горшков и высунул башку в окошко.

— Заключённый Артём Горяинов! — подумав, ответил Артём и тут же отчётливо разобрал, как Эйхманис внятно произнёс где-то за спиной Горшкова: “Пусть оба идут!”

— Оба сюда! — скомандовал Горшков и шумно вернулся за стол — слышалось дребезжание посуды, кто-то с грохотом сдвинул несколько стульев.

Ничего не сказав Артёму, Феофан смиренно пошёл к хате Горшкова.

Ведомый только хорошими предчувствиями, Артём вернулся за рубахой к своей лежанке и, одеваясь на ходу, поспешил вслед за стариком. Благо тот оставил дверь открытой, а то было б неловко, чертыхаясь, лезть в чужой, тем более чекистский дом — там, на пути, обязательно попало бы какое-нибудь бесноватое ведро, хорошо ещё, если пустое, а не с хозяйскими помоями.

Горшков жил скудно: печь посреди избы, возле печи — кровать, но, судя по тому, что на полу, едва не возле дверей, было тоже постелено, сегодня хозяйское место занимал Эйхманис. За исключением стола и стульев, из мебели имелся только сундук. Над окном висела связка сухой рыбы, над кроватью — шашка и часы на гвозде с тем расчётом, чтоб лёжа можно было дотянуться до них.

Эйхманис сидел во главе стола — нисколько, несмотря на смутные ожидания Артёма, в отличие от Горшкова, не уставший и не обрюзгший от ночного пьянства, но, напротив, будто бы ставший чуть более резким и быстрым и во взглядах, и в движениях. Горшков со своим набыченным медленным видом и тугими щеками явно не соответствовал начальственному настрою.

— Придумал ответ? — спросил Эйхманис отца Феофана.

— У меня их и не было, Фёдор Иванович, ответов-то, — сказал монах.

— Пролетариат лучше Христа, — быстро, будто бы не слушая отца Феофана, сказал Эйхманис. — Христос гнал меня из храма, а пролетариат поселил тут всех: и кто менял, и кто стрелял, и кто чужое воровал... Революция такая, революция сыкая, а где огромная правда, которую можно противопоставить большевистской? Сберечь ту Россию, которая вся развалилась на куски, изнутри гнилая, снаружи — в вашем сусальном золоте? Кому сберечь? Зачем?

Эйхманис быстро обвёл глазами всех собравшихся, и Артём спокойно встретил его взгляд.

— Соловки — прямое доказательство того, что в русской войне виноваты все: что, ротные и взводные из “бывших” — добрей чекистских? Артём, скажи? А то Феофан не знает.

— Все... хороши, — сказал Артём с продуманной паузой. Горшков тряхнул тугими щеками и в который раз уже с бешенством посмотрел сначала на Артёма, а потом на Эйхманиса: как смеет этот шакал?.. — но Эйхманис на взгляд Горшкова снова не ответил.

Он молча и не моргая смотрел на Артёма.

Артём на мгновение почувствовал, что глаза у начлагеря совершенно безумные: в них нет ничего человеческого. Он перевел взгляд на его руки и увидел, что запястья у начлагеря не мужицкие, а будто бы у музыканта, и пальцы тонкие, а ногти — бледные, стриженные, чистые.

— А чего ты не налил ему? — спросил Эйхманис Горшкова. — Налей, он гость.

Горшков, не глядя на Артёма, придвинул ему бутылку и стакан, зацепив и то, и другое в одну руку с жирными и почти красного цвета пальцами без ногтей.

Эйхманис ухмыльнулся.

Феофан смотрел в стол.

Артём налил себе на большой глоток и сразу же выпил.

На блюде лежала неровно порезанная сельдь — пахла она призывно и трепетно. Артём не решился дотянуться к ней, но странным образом почувствовал родство этой сельди с женскими чудесами... Такое же разбухшее, истекающее, невероятное.

Даже губу закусил, чтоб отвлечься.

— Недавно в Финляндию сбежал один — из полка, — с какого-то своего, одному ему понятного места продолжил Эйхманис. — Тут же отпечатали книжку, на русском языке, ты подумай... Мне Бокий привёз только что, — пояснил Эйхманис, коротко взглянув на Горшкова. — Пишет эта мразь в книжечке своей, что за год мы тут расстреляли шесть тысяч семьсот человек. Там, наверное, барышни падают в обморок, когда читают. Мы можем и шесть тысяч, и шестьдесят шесть расстрелять. Но тут в тот год всего семь тысяч заключённых находилось! И кого ж я расстрелял? Три оркестра, два театра, пожарную роту и питомник лисиц? Вместе с лисицами!

Артём подумал-подумал — и дотянулся до пирога, лежавшего на блюде возле Горшкова.

Пирог оказался с капустой: пышный и сладкий, у Артёма, кажется, даже мурашки по телу пошли от удовольствия.

Следом всё-таки ухватил ломоть сельди и забросил в рот: о-о-о. Жевал, с глазами, полными восторга.

Горшков проглотил слону и тяжело выдохнул: “Не нажрался ещё?” — говорил его вид.

“А то тебе мало”, — подумал Артём.

— Пишут ещё, что здесь мучают заключённых, — продолжал Эйхманис, будто бы не замечая происходящего за столом, но на самом деле очень даже замечая. — Отчего-то совсем не пишут, что заключённых мучают сами же заключённые. Прорабы, рукрабы, десятники, мастера, коменданты, ротные, нарядчики, завхозы, весь медицинский и культурно-воспитательный аппарат, вся контора — все заключённые. Кто вас мучает? — Эйхманис снова посмотрел на Артёма, и тот сразу перестал жевать, не от страха, а скорей тихо и ненавязчиво валяя дурака. — Вы сами себя мучаете лучше любого чекиста!

Похоже, Эйхманис начал расходиться — Артём догадался об этом по Горшкову, который медленно убрал руки со стола и выпрямился.

— Голые! — громко сказал Эйхманис тем тоном, каким в театре читают стихи. — Пишут, у нас тут голые выходят на работу! А если это уголовники, которые проигрывают свою одежду? Я сам их раздеваю? Что за идиотизм? Знаете, что будет, если я раздам им сейчас сапоги всем? Завтра половина из тех, кто имеет сапоги, будут голыми!

Эйхманис кривился и словно бы сдерживал припадок.

— Проституток заселяем к монахиням, пишут! А как вы хотели? Чтоб монахини отдельно, а шлюхи отдельно? И ещё отдельно баронессы? И потом проститутки идут голые, а вы удивляетесь? Я потому их и заселяю вместе, что у меня падает сразу и количество драк, и заражённость сифилисом, и разврат, и распад, и ад! — Эйхманис взял стакан и на слове “ад” жёстко ударил им об стол.

— Мы только политических заселили отдельно! — кого-то, то ли присутствующего здесь, то ли отсутствующего, отчитывал Эйхманис. — И ещё священников отселили! И мы роём, своими руками зарабатываем средства, чтоб всем было по нраву! Потому что того, что присылает Москва, хватило бы вам только на гробы! И правильно! Надо уметь зарабатывать самим, мы не в раю. А чего вы хотите — вся страна так живёт! Страну ждёт война! Из мужика давят все соки! Из пролетариата — давят! А вас нужно оставить в покое?

Артём, на счастье, половину пирога уже прожевал и сидел, глядя то на бутылку — там оставалась ещё половина, то на селёдку — её вообще никто не трогал, а она возбуждала натуральным образом, тревожа самое что ни на есть мужское его естество.

Гульба этой ночи была восхитительной. Иногда Артём пощипывал себя за ногу: не снится ли ему это? В голове снова растекался сладостный хмель; он бы и ещё выпил.

Эйхманиса Артём не боялся вовсе. И не понимал, отчего его боится Горшков.

Говорили, что Эйхманис однажды лично расстрелял кого-то ко дню рождения Дзержинского. Может быть, кого-то и расстрелял, но с чего ему расстреливать Артёма?

— Почитать рассказы про нас, так получается, что здесь одни политические, и все они сидят на жёрдочке на Анзере, — говорил Эйхманис. — А здесь домушники, взломщики, карманники, воры-отравители, железнодорожные воры и воры вокзальные, воры велосипедов и конокрады, воры-церковники, магазинные воры, воры при размене денег, которые зовутся вздёрщики, воры, которые обкрадывают гостей своих подруг-проституток, содержатели малин и притонов, скупщики краденого, фармазоны, которые “куклы” делают и липовые пачки денег используют для покупок, обманывая крестьян... А пишут ведь, что здесь сидят и принимают муку крестную лучшие люди России. Ты, Артём, между прочим, знаешь, что чекистов тут сидит больше, чем белогвардейцев? Нет? Так знай! — Эйхманис вдруг захохотал, глядя на Горшкова.

Смех этот никого не расслабил.

Монах теперь смотрел в окно, будто бы ожидая рассвета, — с рассветом, говорят, пропадает любая нечисть. Горшков же смотрел в стол.

— А содержат их куда хуже, чем многих иных! — сказал Эйхманис с некоторым даже вдохновением. — Артём знает, в каких кельях живут каэры и священники! Чекистам келий не дают! Они в одной казарме все. Хотя, казалось бы, чьи заслуги перед революцией выше? Чекистов или каэров? Как ты думаешь, Горшков?

Горшков закусил губу и начал напряжённо смотреть прямо, словно ответ был мелко прописан на противоположной стене.

— А ничьи! — издевательски ответил за него Эйхманис. — Ничьи заслуги революции не важны! Они ан-ну-ли-ро-вались! И начался новый счёт! Кто работает — тот ест пироги! Кто не работает — того едят черви! Вот сидит Артём — и вдруг он завтра убежит? — Здесь Горшков снова вскинулся и даже поискал револьвер на боку — он там и был: не пристрелить ли бегуна? Но Эйхманис всё не подавал сигнала и продолжал говорить:

— Убежит и расскажет там всем всю правду. А какую правду он знает? Он был в двух ротах, пять раз ходил на баланы, пять раз на ягоды и общался с двумя десятками таких же заключённых, как он. Он опишет свой барак — как будто его барак о ограничивается мир... А здесь не столько лагерь, сколько огромное хозяйство. Загибай пальцы! — приказал Эйхманис Артёму: — Лесозаготовка — лесопильное и столярное производства. Рыбная

и тюленья ловля. Скотное и молочное хозяйство. Известково-алебастровый, гончарный, механический заводы. Бондарная, канатная, наждачная, карбасная мастерские. Ещё мастерские: кожевенные, сапожные, портновские, кузнечные, кирпичные... Плюс к тому — обувная фабрика. Электрификация острова. Перегонный завод. А, у тебя пальцы кончились. Давай начинать сначала...

Эйхманис налил себе стакан, и Артём подумал, что здесь все пьют по часовой стрелке, пропуская Феофана... сейчас его очередь будет.

— ...Железная дорога, торфоразработки, сольхоз, пушхоз и сельхоз. Монахи тут ничего не могли вырастить, говорили “климат не тот”; а у нас растёт — и картофель, и овёс! Лодочное и пароходное сообщение. Стройка новых зданий, ремонт старых. Поддержка в порядке каналов, вырытых монахами. Заповедник и биосад в нём. Смолокурня, радиостанция и типография. Театр, даже два театра. Оркестр, даже два оркестра. И две газеты. И журнал. А ещё у нас больница, аптека, три ларька... Ты, кстати, где купил эту кепку, Горшков?

— В ларьке, — быстро ответил Горшков.

Эйхманис, глядя на Артёма, кивнул головой так, словно кепка Горшкова послужила доказательством всего им сказанного.

— Пишут: плохо кормят. А где я возьму? Природа скудна, естественных богатств — минимум. Все работы и промыслы могут быть только подспорьем. Для. Внутренних. Потребностей. Лагеря. Но мы исхитряемся и кормим столько народа, сколько монахи никогда не кормили. Им бы привезли столько заключённых — они бы передохли у них через неделю... Пишут: лечат плохо. А мы каждый год выписываем медикаментов на 2000 рублей! Где они? А я тебя спрошу! Где? Воруют, может? Но только если я чекистов за это гнобло в карцерах — про это не напишут! То, что у нас школа для неграмотных работает, — не напишут! То, что я открыл церковь, разрешил бывшим священникам и монахам ходить в рясах, — не напишут.

Феофан вдруг с чмокнувшим звуком раскрыл крепко сжатый рот и произнёс:

— Сначала запретить носить рясу, а потом разрешить: и вроде как благое дело зачлось? Можно ещё выпороть кого, а потом маслом смазать по голым костям — ещё одно благое дело.

Эйхманис вдруг повеселел, а то, похоже, ему с каждой минутой становилось всё скучнее.

— О! — сказал Эйхманис, как будто Феофан, наряду с кепкой Горшкова, снова подтвердил его правоту. — А говорил: ответов нет. Я ж знал, что есть.

Феофан молчал, но Артём странным образом всё ещё вслушивался в сказанное им. “Ж” и “ш” старик произносил так, словно это было что-то круглое, лохматое — собрать бы в руку и гладить.

Горшков дважды скрипнул зубами и едва не задохнулся от своего низколобного бешенства, но Эйхманис остановил его самым коротким взглядом, какой только был возможен.

— Феофан, кроме своих святых сказок, ничего не читал наверняка, зато Артём вот Достоевского читал, думаю. Помню, у Достоевского на каторге были кандалы, а за провинности их секли. Как детей. Вас секли тут?

Артём вспомнил, как его Крапин охаживал дрынком, но зачем про это рассказывать? Поэтому просто качнул головой: нет, не секли. Не секли же, действительно.

— И кандалов я на вас не вижу, — сказал Эйхманис, повышая голос. — Снимаете, что ли, на ночь?

Феофан опять чмокнул ртом — у него там, похоже, имелось наготове ещё одно окающее слово с пушистыми шипящими, но в этот раз Эйхманис остановил и его:

— То, что ты сказал, — мне нравится. И если Горшков вздумает тебя давить за это — ему тогда самому придётся заниматься охотой на тюленя. Но теперь ты помолчи. Вам вообще, длиннополым, надо заткнуться отныне и навсегда. Я с Артёмом буду разговаривать, ему это никто не объяснит. Ар-

тём, ты любишь стихи? Я иногда читаю стихи. Говорят, что поэты умеют сказать самое... Да. Если о нас напишут стихи и споют песни — значит, нам будет оправдание на века. А про нас уже пишут и поют. Но вот что надо заметить, Артём. Простые люди в русской деревне стихов никогда не читали. Самое главное им объяснял поп — и про Бога, и про Россию, и про царя. Тираж любой книги Блока был одна тысяча экземпляров. А у любого попа — три тысячи прихожан в любой деревне. Это сильнее, чем театр! Сейчас есть кино, но поп сильнее, чем кино, потому что кино — молчит, и там всё... на бегу. А поп — он не торопится. И монах вообще не спешит.

Эйхманис посмотрел на Феофана, проверяя, торопится ли тот успеть поспать до рассвета, или ему и здесь хорошо.

— И если батюшка говорит, что советская власть — от Антихриста, — а они говорят это неустанно! — значит, никакого социализма в этой деревне, пока стоит там церковь, мы не построим! — сказал Эйхманис, со злым лукавством косясь на Феофана, будто бы довольный его молчанием. — Это даже не палки в колёса! Поп тащит наш воз в противоположную сторону, и тащит с куда большим успехом! В самом лучшем случае — силы наши равны. Мужик слушал попа почти тысячу лет, а мы должны научить его слушать нас — за десять! Это — задача!.. И мы её выполним!

Эйхманис с полминуты сидел, глядя в стол и чуть прокатывая пустой стакан меж большим и средним пальцами.

— Рассказывают, что мы убили русское священство, — тихо продолжил он. — Как бы не так. В России сорок тысяч церквей, и в каждой батюшка, и над каждым батюшкой своё начальство. А в Соловках их сейчас одна рота длиннополых — 119 человек! И то самых настырных и зловредных. Где же остальные? А всё там же. Проповедуют о царстве Антихриста. Нет, Феофан? — вдруг крикнул Эйхманис и ещё громче скомандовал: — Заткнись!..

— Да ладно бы только проповедовали! — кривясь улыбкой, продолжал Эйхманис; голос его стал жестяной и бешеный. — Никто ж не рассказывает, что было обнаружено в Соловецком монастыре, когда мы сюда добрались в 1923-м. А было обнаружено вот что. Восемь трёхдюймовых орудий. Два пулемёта. 637 винтовок и берданок с о-о-огромным запасом патронов. Феофан! — снова неожиданно и яростно рыкнул Эйхманис. — На кого хотели охотиться? На тюленей? Из пушек? А? Заткнись!

— Мы понимаем, что это такое? — спросил Эйхманис, точно уже спрашивая не сидевших здесь, а кого-то, находящегося за их спинами. — Неприступная крепость, которую англичане взять не смогли, а царь Алексей Тихайший десять лет осаждал. И она полна оружием, как пиратский фрегат. Монахи здесь, между прочим, издавна были спецы не только по молитвам, но и по стрельбе. И что вы приказали бы предпринять советской власти? Оставить здесь монастырь? Это... прекрасно!.. Прекрасное добросердечие. Но, думаю, вполне достаточно, что мы их всех не расстреляли немедленно и даже оставили тут жить... Пушки, правда, отобрали... Но если Феофан напишет бумагу, что ему требуется пушка, — я рассмотрю...

Эйхманис потряс папиросной пачкой, высыпал табак и выудил, наконец, последнюю папиросу.

Поискал глазами огня, но нашёл старика-монаха и сразу почувствовавшего недоброе Артёма.

— ...Спать идите, — сказал Эйхманис устало и недовольно.

Но лицо у него было такое, словно он не только что смертельно захотел отдохнуть, а напротив: вдруг проснулся и заметил чужих и незнакомых людей.

Артём уже выходил, когда Горшков неожиданно, в один миг, заснул.

На улице они с монахом услышали отчаянный грохот и вскрик человека. Артём приостановился, а Феофан, напротив, поспешил ещё скорее.

В доме раздался смех Эйхманиса.

Подумав, Артём пошёл вслед за Феофаном. Через несколько шагов понял, что за шум был: Эйхманис выбил табуретку из-под Горшкова.

Эта селёдка, со всем её маслом и золотом, не выходила у Артёма из головы — хотя при чём тут его голова...

Выйдя из хаты Горшкова, он сначала ощутил себя в безопасности, а потом вдруг почувствовал, как у него снова томительно заныло внизу живота, будто там сама собою накручивалась какая-то нить, и места внутри становится всё меньше и меньше, всё меньше и меньше, и от этого так хорошо и страшно было на душе, и волнительно, и бесстыдно.

Феофан, зашедший в свой дом, вернулся и спросил:

— Спать-то идёшь?

— Я подышу пока, — хрипло ответил Артём, уже зная наперёд, что собирается сделать.

От алкоголя он стал беспутным и смелым.

— Ну, дыши, — сказал Феофан. — А я дверь прикрою тогда... а то комары.

Комары вились у лица, но эта нить внутри тянула сильнее, и, едва дождавшись, когда Феофан прикроет дверь, Артём поспешил за хату, подавшись от окошек, — и уже взял себя — сгрёб! — всей ладонью за причинную плоть; она была живой, горячей, разбухшей, полной гудящей крови.

У Горшкова снова засмеялся Эйхманис, но было плевать.

Лес, стоявший рядом и полный поющих птиц, ликовал.

Там будто бы работала огромная фабрика. Кто-то отчётливо шил на швейной машинке. Кто-то ударял серебряными спицами — спицей о спицу, спицей о спицу. Кто-то мыл хрустальные чашки в тазу. Кто-то вкручивал скрипучий болт. Кто-то раскачивал остановившиеся ходики. Кто-то токал катушками ниток друг о друга. Кто-то набрасывал звонкие кольца на деревянный перст. Кто-то тянул воду из колодца, наматывая цепь. Кто-то щёлкал ножницами, примеряясь к бумажному листу. Кто-то стругал, кто-то катал орехи в ладонях, кто-то пробовал золотую монету на медный зуб, кто-то цыкал подковой, кто-то подгонял остальных, рассекая воздух плёткой, кто-то цыкал на ленивых, кто-то, наконец, свиристел, — весь лес словно бы подпевал Артёму и всей его восторженной крови.

“Откуда здесь столько птиц? — смутно, будто из последних сил подумал Артём. — Соловецкие леса такие тихие всегда, как вымершие... А сейчас что?”

Едва дойдя до угла, Артём уже заладил себя тешить: комары вились возле голой, снующей туда и сюда руки и никак не могли сесть на неё — это было смешно, но не настолько смешно, чтоб засмеяться: потому что внутри живота безбольно и тихо лопались одна за другой нити, свободы и пространства там становилось всё больше, и на этой свободе стремительно распускался огромный цветок, липкий, солнечный, полный мёда.

И птицы ещё эти сумасшедшие...

Представил себе женщину, белую в тех местах, где у неё белое, тёмную — где тёмное, дышащую открытым ртом, не знающую, как бы ей ещё извернуться, чтоб раскрыться ещё больше.

...В последние мгновения Артём не сдержался и задавил трёх комаров, сосущих его кровь, резко прижавшись щекой к своему плечу, одновременно чувствуя, как будто звёзды сыпаются в его двигающуюся руку...

Через всё тело прошла кипящая мягкая волна — от мозга до пяток — и ушла куда-то в землю, в самое её ядро.

“Так зарождался мир! — вдруг понял, словно выкрикнул криком внутри себя эту мысль Артём. — Так! Зарождался! Мир!”

...Его выплеснуло всего! Как-то неестественно долго расплёскивало — вот так, вот так, да, вот так... Да кончится это когда-нибудь! Было уже и не сладко, и не томительно, а чуть-чуть больно, и тошно, и зябко, и едва раскрывшийся цветок уже закрывался, остывал, прятался, зато комарья стало в семь раз больше, и Эйхманис смеялся, не переставая, и в доме, где ночевал Артём, кто-то заворчался: оказывается, это было очень очень рядом и очень слышно.

Артём присел, у него закружилась голова, он ощутил ладонью землю, а на земле — густое и влажное, словно здесь кто-то отхаркивался.

Резко поднялся, вытер руку о штанину.

Никакого мира не зародилось — в свете соловецкой ночи виднелись белые капли на траве. Растёр их ногой.

\* \* \*

Эйхманиса с утра никто не видел.

Артём, едва проснувшись и пойдя умываться, не выдержал — зашёл за угол, посмотрел, не осталось ли следов вчерашнего.

“...А то сейчас появится Эйхманис, сразу всё заметит и спросит грозно: “Это кто здесь ночью натворил?” — посмеялся над собой Артём.

На душе было несколько противно. Но терпимо, терпимо... К завтраку Феофан достал сразу шесть сельдей; с утра она ничего женского уже не напоминала, зато вкусна была по-прежнему.

Все ели жадно, быстро, с удовольствием. Облизывали пальцы, улыбались друг другу. За столом почти не разговаривали — так были увлечены.

У Кабир-шаха, отметил Артём, даже белки глаз покраснели от напряжения.

Щелкачов ел аккуратнее всех: чувствовалось воспитание. Иногда он внимательно и чуть щурясь посматривал на иконы, висевшие в избе Феофана.

— Кажется, что, если такую сельдь есть бы каждый день — так и будет выглядеть настоящее человеческое счастье, — вдруг сказал Щелкачов, переведя взгляд на Артёма.

Артём с улыбкой кивнул: он оценил сказанное.

— Спасибо, отец Феофан! — громко поблагодарил Артём на неведомо кем данных ему правах старшего здесь, когда сельдь была доедена.

Он и сам себе постыдился бы признаться, что хочет услышать, как отец Феофан с ним заговорит. Отчего-то казалось, что Феофан хорошо понял, как именно дышал вчера Артём, и от этого в сердце Артёма чувствовался тошный неуют.

Вместо ответа Феофан кинул какую-то тряпку на стол — вроде бы его старые порты. Все тут же начали вытирать об них сорок раз облизанные руки, никто не брезговал.

Феофан вышел из избы.

“...И чёрт с тобой, старый бес, — подумал Артём, — мало ли чем ты сам тут занимаешься всю свою бобылиную жизнь...”

Когда все остальные понемногу побрели на солнечный свет, Щелкачов так мило улыбнулся Артёму, что они сразу же разговорились. Тем более что Артём не выпался и ещё чувствовал брожение алкоголя внутри, а в таком состоянии он почему-то всегда был говорлив, раскрыт настежь и любопытен к другим. Вдвойне хотелось разговаривать из-за Феофана: этот тихий и настырный стыд требовал отвлечения.

— Ты понял, чем мы занимаемся? — спросил Артём задорным шёпотом.

Щелкачов так же весело пожал плечами — в том смысле, что сложно не догадаться.

Артём, тем не менее, вопросительно расширил глаза: а откуда ты мог догадаться?

На этом месте они оба расхохотались, потому что разом поймали себя на том, что после первого вопроса Артёма смогли перекинуться парой фраз, не сказав при этом ни слова.

— Меня и позвали сюда, — сказал Щелкачов, — потому что я иконами занимаюсь.

— Где? — не понял Артём.

— Меня ж перевели из двенадцатой, — ответил Щелкачов. — В музей, который Эйхманис создал.

— Тут ещё и музей есть? — подивился Артём, вспомнив вчерашние перечисления начлагеря: музей-то он и не назвал, загибая пальцы.

— Да-да, — сказал Щелкачов. — В Благовещенской церкви. Две с половиной тысячи икон. Среди них — чудотворные Сосновская и Славянская...

Здесь Щелкачов внимательно и быстро посмотрел на Артёма, и тот сразу догадался о смысле взгляда: Щелкачов пытался понять, значимо ли всё это для Артёма или нет. Сам Щелкачов, судя по всему, был верующим, чего об Артёме сказать было нельзя, но он вида не подал, напротив, кивнул уважительно и заинтересованно.

— Говорят, что Славянская икона — работы Андрея Рублёва, и перед ней молился сам соловецкий игумен Филипп, затем ставший митрополитом Всея Руси и задушенный по приказу Иоанна Грозного, — рассказал Щелкачов.

Артём снова несколько раз кивнул с таким видом, что — да, слышал и он все эти истории, и он действительно когда-то что-то про это знал, но давно забыл.

— И что ты делаешь в музее?

— А сижу в алтаре Благовещения и рисую экспозицию на глаз: определяю век, ценность, содержание... Меня начальник музея выменял у Кучеравы за три церковных ризы, — посмеялся Щелкачов, и Артём тоже хохотнул. — Я немного понимаю в иконах и прочей древности — учился этому. Так что я быстро догадался, зачем нужен... Фёдору Ивановичу. Раскопаем мы какую случайную вещь — ему надо сразу понимать, тридцать лет ей или триста, ценна она или — подними и брось, стоит тут копать дальше или нет.

— Ты не знаешь, он что-то находил уже? — спросил Артём.

— Кто ж нам скажет, — пожал плечами Щелкачов. — Может, и находил. Ходят такие слухи... Будто бы он нашёл в одной бумаге запись, что клад там, где след от третьей головы в полдень на Троицын день, и надо копать на одну сажень вглубь. Под головой, предположили, понимается храмовый купол. Ох уж искали они нужную голову тут, покопали вволю в Троицын день — целый ударник устроили, ничего не нашли... Но то, что он изучил все церковные бумаги и к нему постоянно водят на беседы соловецких монахов, — это я слышал.

Подошёл третий молодой в их команде, Захар.

Он был низкоросл, кривоног, носат, не по возрасту щетинист, видно было, что не брился дня три, а уже так оброс! Если не будет бриться неделю, в свои двадцать или сколько там ему, будет иметь настоящую, чуть курчавую бороду.

Артём ещё вчера хотел у него спросить, где они встречались раньше, но всё забывал.

— Не помнишь? — улыбнулся Захар; когда он, щурясь, улыбался, глаза его будто исчезали под веками. — А нас везли на одном рейсе, мы едва не передушили в трюме: по дуруости полезли самыми первыми — а надо бы наоборот, тогда и места достались бы у выхода, там хоть воздуха можно пошухать.

Артём покивал: да, было дело.

— Мы и в тринадцатой были вместе, но там в толкотне редко нас стелкивало, да я и без бороды был, и всё время на другие наряды... А потом меня перевели в двенадцатую — как раз, когда ты... — Захар, снова сощурившись, посмотрел на Артёма и добавил: — Дрался там с блатными, а потом в больничку попал.

Артёму понравилось, что с блатными он всё-таки, как свидетелям показалось, дрался, а не прыгал от них, как бешеная вошь, с нар на нары...

— Вас, как я понял, взяли в спортсекцию? — спросил Щелкачов Артёма — и он тут же вспомнил, что давно Щелкачову “тыкает”, а тот ему — нет. “Ну, и ладно!” — быстро решил Артём.

Он кивнул: да.

— Бокс? — уважительно произнёс Щелкачов.

Артём усмехнулся. Вдвойне было смешно оттого, что Захар, судя по его виду, слово “бокс” услышал впервые и значения его не понимал.

Никогда особенно не задумываясь об окружавших его людях, Артём легко догадался, что Захар ищет себе дружбы — с ним, Артёмом, — и причи-

ны тому просты: с блатными дружить — себя продать и потерять, а с Щелкачовым — сложно, он умный. Захар искал сближения с понятным ему человеку в надежде, что в трудную минуту тот, быть может, подсобит.

Зато Артём давно уже ни с кем сближения не искал, оттого что догадался: помочь не сможет никто. Мало того — лучше и не отягощать собою никого. К чему было хоть Василию Петровичу, хоть Афанасьеву смотреть на то, как Артёма гоняют блатные, и догнали бы, наконец, когда бы Бурцев первым не разбил ему башку.

“А я ещё сержусь на Бурцева! — вдруг подумал, вернее сказать, понял Артём. — Надо бы сельды раздобыть да ему привезти в дар. Если б не он, меня б уже... порвали бы...”

Щелкачов — тот тоже был не прочь найти в Артёме товарища, хотя бы по той причине, что они пользовались одним словарём, допускали в речи причастные обороты и явно принадлежали к среде книжной. Но Щелкачов был не нужен Артёму тем более, и общался он с ним лишь потому, что ему было душевно и забавно, и сегодня его никто вроде бы не должен был убить, а разве это не повод для радости!

К тому же утро, которое начинается с кремлёвской сельды, — это утро необычайное, доброе.

До обеда они немного поработали: кто копал, кто чертил, Артём всё больше отгонял лопатой всевозможный тысячекрылый гнус.

Красноармеец при них был, но он ни во что не вмешивался и не погонял, наверное, ему так и приказали: присматривать и не лезть.

К обеду появился Горшков — с распухшим лицом и свежей ссадиной, прошедшей через скулу и на висок. В руках у него был свёрток.

Артём смотрел на Горшкова чуть опасливо: кто его знает, что у него после вчерашнего позора на уме.

— Здра, гражданин начальник! — на всякий случай гаркнул Артём, вовремя пнув Щелкачова, чтоб поддержал. Захар подоспел только к “...чальник”.

— Бриться и мыться будете сейчас, — сказал Горшков, будто не услышав приветствия, — а то притащили вшу к нам на островок, на хрен бы она нужна!

Следом заявился Феофан с пирогами.

Пироги были вчерашние или позавчерашние, а то и недельные, но что с того, когда весь день на воздухе, да с лопатой. Все бросились есть, давясь и дыша носом, время от времени обводя округу глазами: не выросла ли поблизости из земли бутылка молока или, пусть с ней, воды.

— Озёрной попьёте сейчас, — сказал Горшков.

...К тому же пироги были не только с капустой, но и с повидлом, и когда это повидло попало Артёму на пальцы, он даже зажмурился: где я? Кто я? Почему я жру повидло? Я что, сплю?

У озера Артём и Захар быстро всё с себя поскидывали и полезли в воду, Щелкачов задумался, а индусы вообще пристыли.

Отчего Щелкачов замешкался, Артём быстро догадался: у него на шее, вокруг пояса и на щиколотках висели мешочки с нафталином и чесноком — Василий Петрович тоже так себя украшал, вшам на страх, — но пахучие обереги, кажется, помогали не очень. Артём однажды тоже такой пытался носить, но скоро решил, что съесть чеснок куда приятнее.

— А вы что, лупоглазые? — заорал Горшков на индусов. — Ну-ка, геть до воды!

Артём заплыл подальше, пить не стал, но рот водой пополооскал, в горле побурлькал ею, три раза сплюнул — вроде как и попил.

Когда возвращался, всем уже раздали мыло, а отец Феофан ходил с бритвой по берегу, будто ожидая того, кто первый решит вернуться.

Курез-шах и Кабир-шах стояли по пояс в воде, слабо оплёскиваясь и глядя на отца Феофана с некоторым страхом.

...Первым решился выйти из воды Захар; судя по всему, купаться он не любил и быстро замёрз.

— Может, щетину я сам? — предложил он. — А ты, отец, голову?

— Небось, больше одного уха не отрежу, — неожиданно пошутил отец Феофан, и все поочерёдно засмеялись, даже Горшков, и тот улыбнулся, но дала о себе знать вчерашняя ссадина, и он тут же скривился.

“Интересно, он мысленно называет Эйхманиса “сухой” или не решает-ся? Или сам себя убедил, что с табурета упал по своей собственной воле?” — веселил себя Артём.

Захар без волос стал совсем пацаном, зато нос у него вырос вдвое и заострился.

— Ты не с Кавказа ли? — спросил Артём, не вылезая из воды, весь в мыле, продолжая расторопно себя натирать.

— С-под Липцев... — ответил Захар, будто ожидая издёвки и очень её не желая. — Крестьяне мы. Но тоже на горе живём. Маленькая, но гора.

Он всё гладил голову, удивлённый своим видом: в деревнях наголо бриться было не принято: по бритой голове в былые времена определяли каторжников... И вот он им стал.

Артём почувствовал, что парень болезненно воспринял его шутейный вопрос, и больше не лез.

Глядя на то, как из воды идёт худощавый, впрочем, недурно сложенный Щелкачов, и выбредая следом, по пути оплёскивая мыло, Артём поймал себя на мысли, может, и неуместной, но всё равно явившейся: он тут был самый видный, самый красивый.

Надо было всего пару дней не работать и питаться пирогами с селёдкой, чтоб всякая дурь в голову полезла...

Побритый наголо Щелкачов изменился не очень: как был питерский головастый мальчик с внимательными глазами, так и остался. Разве что ушей прибавилось на голове, и синюшный череп сменил.

Пришла очередь побриться и Артёму — Феофан делал своё дело ловко и бережно.

Артём всё ждал — особенно в момент, когда Феофан крепко брал его за подбородок двумя пальцами, выбривая под губой, — что тот скажет шёпотом: “А тебе, охальник и рукоблуд, за то, что ты запоганил траву возле моего окошка, я отсеку сейчас нос...” — но ничего такого не случилось.

Солнце уже теряло жар, когда Артём ополоснулся, смыл мелкие остриженные волосы и кожную шелуху с плеч, и вдруг, глянув на своё отражение в воде, едва не засмеялся в голос: такой чистотой и юностью светилось всё его лицо, такой восторг ощущало тело, — что какая тут тюрьма, и при чём она тут! — если целая, до самого солнца, жизнь впереди! Солнце плавало рядом в воде, как кусок масла.

Индусы между тем всё никак не могли решиться на то, чтоб доверить свои лица и волосы бородатому монаху с лезвием. Они так и стояли в озере по пояс, покрытые мурашками и вконец озябшие.

Артём разохотился было посмаковать картину пострижения индусов, но тут неожиданно образовался Эйхманис, трезвый и бодрый.

— Здра! — заорал Артём очень искренне.

Эйхманис привычно обрубил крик рукой: умолкни.

— Ты в какой роте, Артём, я забыл? — спросил Эйхманис, и Артём, сначала ответив, в какой, потом быстро — нехорошо голым говорить с начальством! — натянув рубаху, уже внутри рубахи подумал, что с ним общаются уже не как с заключённым, а как с бойцом, солдатом, армейцем. “И это просто замечательно, — думал Артём, выныривая из рубахи так ретиво, что едва не оборвал себе уши, — это ужасно приятно...”

— И где живёшь? — спрашивал Эйхманис. — В келье?

Артём ответил, что да, в келье, на два места, и зачем-то уточнил: с Осипом Троянским, ботаником.

— А, я знаю про него, — сказал Эйхманис.

— Он сказал, что скоро меня должны отсюда переселить, потому что он обратился с просьбой разрешить его матери приехать к нему с материка и проживать с ним в келье, — пояснил Артём, отчего-то догадавшись, что Эйхманису это будет любопытно.

— Мать в келью? — улыбочиво переспросил Эйхманис и посмотрел на Горшкова. — Как весело, — Горшков на всякий случай кивнул. — Думаю, он чего-то недопонял, — сказал Эйхманис, и Горшков снова кивнул, на этот раз куда убежденней.

— В общем, Артём, я посмотрел на всех вас, — продолжил Эйхманис. — Будете работать при мне, задачи я объясню, ты будешь старший группы.

Артём щёлкнул бы каблуками, если б не был босым, но пятки всё равно медленно соединил и подбородок поднял чуть выше.

— Горшков, сделай ему бумагу, что он командирован в монастырь и обратно, — велел Эйхманис, на Горшкова не глядя. — А ты, Артём, получишь там обмундирование на всех и продукты. И инструменты кое-какие — там Горшков всё напишет в заявительном письме.

“Жаль, что в военных уставах не прописано, что, помимо ответа “Будет исполнено!”, можно в особо важных случаях подпрыгивать вверх, — совершенно спокойно и очень серьёзно думал Артём, — подпрыгивать и орать”.

\* \* \*

Собрался спешно, всё принохиваясь — Феофан явно наготовил чего-то грибного и вкусного, из печи шёл важный дух.

Когда уже выходил, заявили навстречу все остальные лагерники, неся на лицах усталость от долгого смеха: Курез-шаха и Кабир-шаха всё-таки выгнали на сушу и обрили.

— Суп с грибами будет вам, каторжные, — посулил отец Феофан, тоже немного развеселившись.

Все разом уселись за стол в благоговейном ожидании: лица вытянулись и сосредоточились.

Артём решил остаться: ему так не хотелось лишиться обеда, что даже бритые и оттого почему-то обрусевшие на вид индусы не смешили его.

Суп пах, как лесной концерт. Эти чёртовы грибы выросли под птичий в сто тысяч голосов гомон и теперь сами запели: их голоса струились вокруг и волновали невероятно...

Но тут объявился Горшков.

— Ты чего пристыл тут? — в меру строго сказал Артёму. — Я за тобой ходить буду?

Артём загнулся, не зная, что ответить, — хорошо, что ещё не уселся за стол и не начал суп хлебать.

— Держи свою бумагу, — сказал Горшков недовольно. — Провожатый ждёт, мчи пулей.

“В который раз он хотел назвать меня шакалом, но из-за того, что я старший группы, — снова не решился, — догадался Артём и тут же посмеялся над собой: — Что-то ты слишком о многом стал догадываться, догада. Может, все твои догадки — ерунда? И всё не так, и ты — дурак, Артём?”

С красноармейцем он знакомиться не стал, сел на лошадь и поехал следом.

Верхом, надо сказать, он катался впервые, и сначала было боязно, что лошадь окажется норовистой и сбросит Артёма наземь — вот и будет тебе тогда “старший!” — но нет, она спокойно пошла вслед за красноармейской кобылой.

Трясло, конечно, но если приспособиться, то и ничего; красноармеец никуда не спешил, спасибо ему. Через несколько минут Артём успокоился.

“Как скоро ты превратишься в Бурцева, дружок? — задиристо спрашивал он себя. — Начнёшь ли бить Щелкачова лопатой по хребту?..”

Посмеивался, но ответа до конца не знал...

Нет, конечно, он и представить себя не мог в такой ситуации, но — вдруг?

“Если, к примеру, Эйхманис попросит? — Что попросит? Ударить Щелкачова лопатой?..”

Ни к чему не придя, Артём вообще перестал думать, а только озирался и поглаживал себя по голове ладонью: это было приятное чувство.

Если по пути попадались лагерники из числа работавших за пределами кремля, Артём выправлял осанку, и выражение лица его становилось независимым: ему так хотелось показать, что он теперь не просто шакал, как и все, а *шакал верхом на лошади*, и даже красноармеец впереди не столько охраняет его, сколько сопровождает.

Судя по тому, что на Артёма смотрели в основном неприветливо, лагерники кое о чём догадывались. Например, о том, что этому бритому наголо парню выпал кант. Или даже фарт.

В монастырь явились уже ближе к ночи.

Артёму, конечно же, хотелось, чтоб он подъезжал, а там — р-раз! — и Василий Петрович идёт или Афанасьев... Ай, как хорошо можно было бы порисоваться! Но красноармеец заставил Артёма спешиться у ворот, забрал повод и пошёл в свою сторону.

— Эй, а мне куда? — негромко окликнул его Артём.

— А я, мля, знаю, — сказал красноармеец, не оборачиваясь. — Куда приказано — туда и следуй.

Потом всё-таки смилостивился, обернулся.

— Завтра соберёшь всё, что приказали, и двинем взад. Стой на площади, как соберёшься, жди меня. До полудня должны уехать.

На воротах Артём показал своё командировочное письмо, его пропустили, и он поспешил в келью.

— Надеюсь, что мама Осипа ещё не приехала, — бубнил вслух Артём. — А то Осипу придётся спать на полу...

Постучалась самозванная мысль о том, что мама Осипа могла бы оказаться вполне моложавой... А что? Если, допустим, ему двадцать с небольшим, а она родила его молодой... Но Артём тут же оборвал себя: мерзость, какая мерзость, прекрати!

Монастырский двор был пустым. Артём подумал и решил, что, наверное, ни разу не случалось такого, чтоб он оказался здесь совсем один.

“А вдруг все ушли? — то ли усмехнулся, то ли затаился в надежде Артём. — Осталось двое постовых, и больше никого нет?..”

“И не было”, — ответил он сам себе.

Только две чайки вкрикивали и кружили над двором, мучимые бессонницей и мигренью.

Навстречу одинокому человеку с разных концов двора двинулись олень Мишка и собака Блэк — каждый в своей манере. Блэк — достойно, но чуть пританцовывая своим мускулистым телом и сдержанно помахивая хвостом. Мишка — бестолково готорапливаясь, словно опасаясь, что, если он запоздает, всё вкусное достанется псу.

“Вот и лагерники, — посмешил себя Артём, — зайду сейчас в любую роту, а там нары полны всякого зверья. Кроты, крысы, лисы — все грызутся, дерут друг друга, обнохивают... Кто там на воротах у меня проверял документ, я забыл уже, — и Артём всерьёз посмотрел в сторону поста. — Может, там два козла сидели, с козлиными глазами, а я и не заметил...”

Мишка и Блэк приближались.

“А у меня и нет ничего”, — с привычным огорчением подумал Артём, глядя на зверьё, и осёкся, нащупав в кармане кусок пирога: не помнил даже, когда прихватил его. Вроде после бритья на озере... кажется, да... Чей-то обедок лежал там — зажрались. Или не обедок, а кто-то оставил, пока брили, и Артём умыкнул, не задумываясь.

Разломил пирог, левую протянул псу, правую — оленю, оба взяли поднесённое, даже не принохиваясь. Касание звериных влажных губ осталось на обеих руках.

Артём так и пошёл в свой корпус с этим ощущением: лёгкого и чуть мокрого тепла.

Зверьё доело всё разом, оленька сделал пару шагов вслед, но понял, что ничего больше нет, и остановился, а Блэк сразу знал, что, если дают один раз и уходят, значит, всё. Благодарно дождался, пока Артём исчезнет за дверями корпуса, и пошёл досыпать.

В келье пахло кисло, Осип, как обычно, спал крепко, Артём, особенно не церемонясь, стянул ботинки, потянул с плеч пиджак, и тут его сосед неожиданно вскинулся, напуганный шумом. Артём даже застыл — так и стоял с полупущенным пиджаком на руках.

— Кто? Что? — вскрикнул Осип: в глазах его гулял ужас, он не узнавал своего товарища и двигал ногами, отползая в угол. — Уходите! — то ли приказывал, то ли умолял он. — Прочь! Мне не надо этого!

— Осип! Осип! — Артём хотел взмахнуть рукой, но мешал пиджак. — Это я, Артём!

Несколько мгновений Осип пытался осознать смысл сказанного.

— Я напугался... — сказал он шепотом. — Думал: чекист. — Потом долго тёр виски.

\* \* \*

— Сконструировал аппарат для осаждения и фильтрации йода, — рассказывал Осип с утра, под завтрак. — Большой чан с двумя фильтрами. Мешалка и труба подвижны электричеством. Труба снабжена вентилятором. Знаешь, как было до этого?

— Как? — поинтересовался Артём; он всё равно ничего не понимал и лишь время от времени думал: огорошить Осипа словами Эйхманиса о том, что едва ли в келью к нему подселит мать, или не лезть не в своё дело. Кстати сказать, кому-кому, а Осипу Артём не очень хотел хвалиться своим новым назначением. Хотя всё равно с трудом сдерживался, вопреки здравому смыслу.

— До сих пор осаждение велось вручную, в бутылках, — объяснял Осип; отчего-то, говоря о бутылках, он показывал поднятую вверх морковь, которую держал в руке. — Процесс, во-первых, трудный для рабочих, а главное, вредный: пары брома, окислы азота, пары кислоты, пары йода — и всем этим люди дышали.

— Ужас, — согласился Артём и повторил. — Окислы. Пары.

— Да, — кивнул Осип, довольный, что его слышат. — А я сделал так, что запаха почти нет, усилий прилагать не надо — всё идёт само собою, — и тут же, без перехода, мелко засмеялся, немножко даже подпрыгивая на своей лежанке. — Как же я вчера был напуган! Отчего вы побрились? Вошёл кто-то без волос — как бес, рук не видно, и будто свисает мантия... Я думал, что пришёл забрать... даже не меня, а душу.

Осип так же резко перестал смеяться, как начал.

— Ешьте морковь, — сказал Артём, кивнув Осипу на зажатый в его руке овощ.

— Мне пора, — вдруг ответил Осип и засобирался.

— А мама ваша? — не сдержался Артём. — Она скоро приедет?

— Ой, — встрепенулся Осип. — Спасибо, что напомнили. Мама уже выехала. Вам нужно зайти в ИСО и заявить о необходимости предоставления вам нового места.

Артём поперхнулся, но ничего не сказал, только в который уже раз подумал: “Вот анчутка... К нему мама приезжает, а я иди в ИСО. Чёрта с два я туда пойду!”

Пока Артём размышлял, Осип уже ушёл, забыв попрощаться.

Артём ещё раз умылся и даже решил на себя посмотреть — в их корпусе имелось общее зеркало. Из зеркала глянул бешеными и яркими глазами взрослый, повидавший жизнь пацан: загар чуть в белую крапинку, как подсоленная горбушка хлеба, башка красивая... По Арбату бы её выгулять... Ох...

“Отъелся за последнее время, как волчара”, — с удовольствием подумал Артём, чуть-чуть даже прищёлкивая зубами.

Он очень себе понравился.

Он был полон летних сил.

По командировочному письму получил на лагерном складе одежду на свою группу: размер определял на глаз, ему никто не перечил, давали выбирать.

Себе, естественно, подобрал влитое: сапоги болотные, высокие, галифе с леями и гимнастёрку с раскосыми карманами.

Придётся сразу в новое, умытый и наглый вышел на улицу с таким чувством, будто ему сейчас должны честь отдавать красноармейцы.

На радостях позабыл забрать необходимый инструмент. Вернулся на склад, получил три лопаты, кирку, топор, совок, полотно, ведро, щётку и веник — это Щелкачов заказывал.

“Стирать землю с золотых украшений и складывать их в ведро, как рыбу”, — посмеялся Артём; его всё смешило.

Ещё карандаши и бумагу — для индусов с их черчением. Со всем своим барахлом — тюк одежды, ведро, — ошетилившийся черенками лопат, чертыхающийся и попеременно что-то теряющий, еле выбрел на монастырский двор и там снова всё уронил.

Набежал Афанасьев, кинулся помогать — всё такой же весёлый, чубатый, леденец во рту, видно, вчера хорошо раскинул святцы.

— Тёма! — пропел Афанасьев, поигрывая конфеткой в зубах. — И что, тебя ещё не убили?

— Нет, я теперь при Эйхманисе, — сразу выпалил Артём: сколько ж можно было в себе это таить!

— В качестве? — весело спросил Афанасьев и схватил себя за чуб, видимо, чтоб голова не отвалилась.

— Это, брат, секрет! — в тон ему ответил Артём, чуть дурачась.

— Но не шутишь?

— Честное соловецкое! — съёрничал Артём: ещё месяц назад ему и в голову б не пришло острить так. — А ты?

— А я тоже готовлюсь к переводу, — похвастался Афанасьев. — По театральному делу. Но ты кручёней, ты верчёней, ты вообще лихой паренёк, а? А придет-то как? Дьявол меня разорви!

В ответ Артём только сморгнул с достоинством: да, лихой; да, разорви тебя дьявол.

— Ну, я побег, — нарочито коверкая язык, сказал Афанасьев. — У нас репетиция. Скоро премьеры. Сам гражданин Эйхманис явится. Ты одесную от него сидеть будешь? Или ошуюю?

Артём захохотал, Афанасьев тоже; они по разу толкнули друг друга, как пацаны, и разошлись, только Афанасьев ещё раза три оглянулся.

Уже когда на некотором отдалении был, сдержанно, быстро осмотревшись, крикнул:

— А лопаты-то куда? Ведро? Ты его мыть будешь? Или зарывать?

Это уже были совсем нехорошие шутки, тем более что вокруг невесть кто бродил, но Артёму по-прежнему было всё равно: он картинно плюнул в сторону Афанасьева и отвернулся.

Там, куда он отвернулся, в поле зрения как раз объявился Ксива: он нёс куда-то свою отвисшую губу.

Артём, у ног которого лежало всё его барахло, перебрал ногой, что ему больше всего сейчас могло бы пригодиться, и остановился на кирке.

“Башку ему отшибу”, — решил он, не очень отдавая себе отчёт в том, серьёзен он или нет.

Ксива, кажется, тоже догадался, к чему идёт дело, и, враз оценив ситуацию, достаточно поспешно пошёл своей дорогой и даже губу прибрал.

Артём ещё постоял, играя киркой: “Ну, кто тут? Выходите, черти! Семеро варёных на одного пережаренного!”

Вернувшись к тюку с одеждой, Артём уселся на него: “А то унесут сейчас, как будешь объясняться...” — подумал он мельком.

На мгновение задумался, что он всё-таки немного смешной в своих болотных сапогах посреди двора, но не захотел об этом размышлять, отмахнулся.

Пришёл Блэк, потёрся боком. Артём расчесал ему в том месте, где у собаки была бы борода, если бы она росла. Блэк благодарно закатил чёрные глаза. Дышал он сладким собачьим духом — Артём с детства любил этот запах.

Олень Мишка выжидательно стоял рядом: тут только чешут или могут угостить сахарком?

Даже соловецкие, такие тоскливые, облезлые, почерневшие стены, пустые монастырские окна, словно бы пахнувшие чекистским перегаром, нелепые звёзды на куполах — даже это всё на сегодняшнем солнце играло, немало раскачивалось и, если прикрыть глаза, двоилось, троилось.

Но когда одна беда миновала тебя, а судьба своего требует, всё равно выйдет другая.

Где-то на самом дне билось, как ручеёк, слабое предчувствие, что лучше притаиться и проспать в такое утро, но как было внять этому чувству?

Откуда ни возьмись, появился десятник Сорокин со своими потными подмышками, пахнувшими, как с утра пойманная и уже тронутая солнцем рыба, со своими грязными, как соломенная труха, слышимыми младенческими волосами, со своим мутным взором бешеной собаки и губами, полными слюной, словно их, как конверт, промазали клеем, но не заклеили.

Он был очень пьян.

В жизни его очевидным образом произошло важное событие; ощущение этого события клубилось вокруг него, как рой помойной мошкеры.

Чайки сопровождали Сорокина остервенелыми криками: им тоже, наверное, казалось, что он под мышками несёт по рыбине.

Сорокин первым увидел Артёма и с полминуты, время от времени моргая, разглядывал его, пытаясь вспомнить, когда и где видел этого типа. Болотники, галифе с ляями и гимнастёрка с раскосыми карманами сбивали с толку, но Сорокин поднапрягся и, наконец, озарился.

Перед ним был тот самый шакал, что однажды унизил его перед лагерниками.

Сорокин обещал запомнить его — и, надо же, запомнил! “Мне продукты ещё надо получить”, — некстати и с лёгкой тоской подумал Артём, оглядываясь: неудобно же идти с этими лопатами к ларьку... Или на кухню? Что там было написано в командировочной бумаге?

— Ты, шакал, думал, моя амнистия спасёт тебя? — начал Сорокин издалека. Его шатало, но не так, чтоб очень, и вообще, подумал Артём почти отстранённо, он здоровый мужик, этот десятник. — Я из тебя сейчас выбью длинную соплю, — цедил Сорокин, подходя всё ближе. — И удавлю на этой сопле.

Когда Сорокину оставалось полтора шага, Артём, безо всякого усилия и ни о чём не думая, быстро привстал с тюка и ударил бывшего десятника в подбородок снизу.

Сорокин упал.

Артём снова сел на тюк.

Он сидел и смотрел в небо, рядом лежали лопаты, кирки, Сорокин, стояло ведро, в трёх шагах, подняв уши, застыл удивлённый Блэк, олень Мишка, напротив, отбежал чуть дальше, но всё равно оказался на пути красноармейцев, которые всё видели и спешили к Артёму.

За шиворот, как нашкодившего щенка, его подняли с тюка и дали оплеуху.

Артём хотел всадить ещё и красноармейцу, но его уже остужало, как чугунок, снятый с огня и опущенный под воду: ещё шипело и парило, однако с каждым мигом становилось холодней и холодней.

— Куда его? — спросил один красноармеец второго. Тот, присев на колени, теребил Сорокина:

— Подох, чё ли?

Не услышав ответа, со скрипом поднялся и чуть озадаченно оглянулся, видимо, ожидая немедленно увидеть поблизости доктора Али, которого отчего-то не было.

У Сорокина изо рта натекла слюна. В слону села и чуть не увязла там крупная муха.

— У меня командировочное удостоверение от Эйхманиса, — злобно сказал Артём, но смотрел при этом всё равно на Сорокина: неужели?..

— Завали пасть, — ответил ему красноармеец, причём говорить он начал одновременно с Артёмом и успел произнести свою угрозу ещё тогда, когда Артём выговаривал по слогам “командировочное удостоверение”, однако

на фамилии “Эйхманис” красноармеец что-то понял, и второй оплеухи уже не последовало.

— В ИСО его, — сказал он.

— Будете отвечать перед начальником лагеря за потерю имущества, — объявил Артём, чувствуя жестяной вкус каждого слова: Сорокин смотрел в небо полуоткрытыми глазами, которые уже не выдавали живого человека.

— А этого куда? — спросил второй красноармеец своего товарища, кивая на Сорокина.

— Лопаты бери пока, сложим внизу в ИСО, — ответили ему. — А десятнику врача позовём.

Станным образом Артём пошёл ко входу в ИСО с пустыми руками — вослед ему два красноармейца несли тюк с одеждой, инструменты и ведро. Они сами сообразили, что выглядят смешно, но было поздно — не бросать же теперь всё это.

У самого входа Артём обернулся и едва не вскрикнул от счастья, как уколотый: Сорокин вдруг сел и с неожиданной страстью начал отирать лицо руками. Увидев это, Блэк залаял, будто рассердился, что труп ожил.

Вид Сорокина и все его движения говорили о том, что он ничего не понимал и ни о чём не помнил. Просто вот слона налипла...

— Живой, — сказал Артём красноармейцу радостно.

— Пошёл, — ответил красноармеец Артёму и втокнул в дверь.

Инструменты и форму оставили возле дежурного, и когда Артёма повели наверх, он уже на втором этаже догадался, кого сейчас увидит.

Ну да, вот и третий, а куда же ещё...

Помощник дежурного по ИСО попытался доложить, но знакомый женский голос ответил:

— Не надо, я видела в окно.

Галина сидела за столом. На стене, за её спиной, по-прежнему висели портреты Троцкого и Дзержинского.

— Садитесь, — сказала Галина, мельком подняв глаза на Артёма. Естественно, она что-то писала, но, подняв глаза и тут же опустив, не сдержалась и снова посмотрела на него.

Артём прошёл к её столу — табурет был тот же, он помнил, и пока сидел, успел заметить, что портрет Ленина остался на месте, под стеклом стола, а портрета Эйхманиса, который там тоже был, теперь уже не оказалось...

“Или нет, — вдруг понял Артём. — Он на том же месте, просто Галина его перевернула... чтоб не видеть!”

— Вернулся, наконец, Горяинов, — сказала Галина и быстро, как-то даже деловито облизала губы. — Тебя тут наши бумаги ожидают уже который день. О добровольной помощи Информационно-следственному отделу, которую ты обязуешься оказывать.

Она была без формы — в рубашке с закатанными рукавами, две верхних пуговицы расстегнуты, шея коротковата, но лицо красивое, чуть вспотевшее, кожа смуглая, глаза широко расставлены, взгляд внимательный и чуть злой, мочки ушей проколоты, но серёжек нет, скулы крепкие, зубы белые, губы обкусаны, как у подростка, и шелушатся.

“Влип? — почти спокойно подумал Артём. — Или нет?”

— Гражданин Эйхманис направил меня с поручением, — ответил Артём и полез в карман за командировочными бумагами...

— Я тебя не спрашиваю, Горяинов, кто тебя и куда отправил, — перебила его Галина; едва видная капелька слюны слетела с её губ и попала на бумаги, разложенные перед ней. — Речь идёт о том, что ты многократно нарушил дисциплину и порядок, отбывая срок в Соловецком лагере особого назначения, за что должен быть немедленно наказан. Твоя келья теперь — карцер, ясно тебе? — голос её звенел и высылся. “...Влип-влип-влип-влип...” — отстукивало в голове у Артёма.

— Я пытаюсь объяснить, — хрипло начал он, — что бывший десятник Сорокин попытался препятствовать исполнению приказа товарища Эйхманиса...

— Гражданина! — перебила его бешеная женщина. — Гражданина Эйхманиса! Тебе он не товарищ, тебе не объяснили ещё? Мало просидел? Может быть, тебе удвоить срок? Хотя ты и свой в карцере не досидишь!

Галина даже встала из-за стола, она неотрывно смотрела на Артёма, пытаясь прожечь его насквозь, убить немедленно, сейчас же, будто именно Артём являлся отвратительным сгустком всего того, что она ненавидела и чему яростно желала смерти.

Артём это чувствовал, и ему становилось всё страшней.

“Господи, отпусти меня, — лихорадочно думал он. — К блатным, к Ксие, к Жабре, куда угодно...”

— Гражданин Эйхманис назначил меня, — почти выкрикнул Артём и тут же забыл или ещё не придумал впопыхах слово, которое должно было обозначить смысл его назначения, — назначил своим ординарцем! И я должен выполнить его приказ!

“Что я несу, Боже мой... — кричало всё внутри, — меня же убьют за это!”

И оба они, кажется, кричали: он — голосом ребёнка, заслонившего рукой лицо от ужаса, она — голосом покинутой и обиженной женщины, требующей, чтоб ей немедленно доказали, что она любима, нужна, что без неё мир пуст, а с ней...

— Кем? Кем, ты сказал? Повтори! — требовала она, готовая захохотать, и, обойдя стол, подошла к Артёму в упор, словно собираясь вцепиться ему в лицо. На ней была тугая юбка.

Она встала перед Артёмом и оперлась задом о свой стол.

— Ординарцем, — упрямо и громко повторил Артём, глядя на эту юбку. — Как вы смеете меня задерживать?

В голове его, совсем ему непонятная, появилась откуда-то извне фраза: “Она так нарочно”.

“Она нарочно так, — думал кто-то вместо напуганного и леденеющего Артёма. — Она нарочно так. Она нарочно так. Ты должен угадать. Ты должен угадать. Иначе она уйдёт, сядет за стол — и тогда всё...”

Не отдавая себе отчёта, он, так и сидевший на табурете, вдруг чуть наклонился, взял её за ногу и влез, влез, влез этой своей рехнувшейся рукой ей в тугую юбку — насколько смог, — а смог только до колена, но это уже было... это уже было кошмаром, расстрелом, червивой ямой.

“Угадал? — вопил какой-то бес внутри Артёма. — Что, угадал?!”

— Ах, ты тварь! — сказала Галина внятно и, как показалось, совсем бесстрастно.

Но Артём уже вставал, комната качнулась, застыла как-то боком... Откуда-то — он увидел это мельком, словно выпал из разверзнувшегося неба и полетел вместе со всей этой комнатой на огромной скорости, — появились её тонкие, обкусанные губы и потная щека, и он в эти губы вцепился, пытаясь спастись и не разбиться вдребезги.

Тут же почувствовал, как она одной рукой взяла его за гимнастёрку, собрав ткань в кулак, а другой — за шею, очень больно вколов в его кожу даже не ногти, а когти: “Тварь, тварь, ты тварь!” — вот что вопила её рука.

Взбесившийся тонкий змеиный язык её был у него во рту, и сопротивлялся там, и бился, как ошпаренный...

“Чай только что пила, с сахаром”, — подумал кто-то вместо Артёма, потерявшего рассудок.

Вырвав когти из его шеи, она столь же резко поискала что-то в паху у него, никак не умея найти.

— Да расстегни ты это всё, где там у тебя... — велела она бешеным шёпотом.

\* \* \*

Эти болотные сапоги — они были так неуместны: он спускался вниз с третьего этажа по лестнице на негнущихся ногах. Ноги дрожали.

“Болотные сапоги, потому что ты — в болоте”, — приплыла к нему пер-

вая мысль, и он её нёс, и она покачивалась в его мозгу, как палый лист на воде.

Вышел на улицу, не помня как, запомнил только, что, пока спускался, в нескольких кабинетах стрекотали печатные машинки, напоминая каких-то птиц. Птицы клевали буквы. Буквы разбегались в стороны.

Очень удивился, что на улице солнце — оно слепило. А казалось, что должен быть вечер. Казалось, столько всего прошло уже. Целая жизнь взметнулась вверх, рассыпалась, как салют, и пропала.

...И руки тоже у него дрожали.

Он облизал губы. Губы пахли чем-то чужим.

Едва ли не в самое лицо налетела чайка, гаркнула что-то.

Он вдохнул, осмотрелся и что-то вспомнил.

Сначала — что тут был Сорокин, и его уже нет.

Потом — что у него были лопаты. Кирки. Ведро. Топор. Тюк с одеждой и болотными сапогами. Бумага для черчения и карандаши.

Артём развернулся и вошёл в ИСО.

Ничего не говоря, он двинулся к инструментам, сваленным прямо тут же, у входа.

— Э! — крикнул дежурный красноармеец. — Ну-ка, положи!

Тут в ИСО вошёл другой красноармеец, и Артём узнал своего вчерашнего провожатого.

— М...нь ты берёзовый, где тебя носит, йодом в рот мазанный? — заголосил он.

Артём смотрел на него, как контуженный.

— Забирай инструмент, чего ты его здесь вывалил? — велел провожатый.

— Петро, нельзя, — ответил ему дежурный. — Изъят.

— Как, ёп-те, нельзя, ты чо, — всплеснул руками провожатый. — Там товарищ Эйхманис ждёт.

Дежурный был слегка озадачен таким известием, но позиций не сдавал.

— Тебе что сказали в кабинете? — спросил он Артёма.

“Она мне велела: “Выйди!” — вспомнил Артём, но не стал об этом говорить. Голос у неё был сиплый, и прядь прилипла к виску.

— Ничего не сказали, — тихо ответил Артём. Даже голос у него дрожал.

— Сейчас разберёмся, — сказал дежурный и, кликнув своего помощника из подсобки, велел: — Сбегай на третий, спроси у Галины, что с изъятым инструментом делать.

— Тьфу! — сказал провожатый; Артём знал теперь, что его зовут Петро.

Петро, ещё раз обозвав Артёма, вышел курить, на ходу сворачивая цигарку.

Две минуты Артём ждал, изредка трогая пальцами холодную стену.

Вернулся Петро, спросил:

— Ну?

Ему никто не ответил.

Наконец спустился помощник дежурного и отчитался:

— Инструмент передать Эйхманису, Артёму Горяинову приказано остаться в кремле до особого распоряжения и вернуться в свою роту.

Артём тяжело дышал через рот, стараясь не смотреть по сторонам, чтоб не встретиться с Петром глазами.

“Сама ты тварь”, — подумал он очень отчётливо и уверенно.

“Она не боится, что я сейчас всем скажу, что я её...” — остервенело спросил он себя.

“И сегодня же вечером тебя пристрелят, придурок”, — ответил он сам себе.

— Чего ты встал, образина? — крикнул Петро на Артёма. — Тащи хоть до лошади это барахло, — и для ясности ткнул Артёма в бок.

Артём собрал, что смог, Петро придержал дверь и выпустил его во двор.

— Как я всё это повезу теперь один, ты подумал, твою-то мать? — спросил Петро, разглядывая сваленное Артёмом возле его лошади.

— Ещё продукты надо получить, — ответил Артём никаким голосом.

— Бумагу дай, — сказал Петро.

Он ушёл за продуктами, Артём ждал его полчаса, чувствуя себя мразью, пылью, подноготной грязью... И эти ещё болотные сапоги на нём.

Чайки орали в самые уши.

“Чтоб тебе сгореть! — даже не с бешенством, а с какой-то неизъяснимой жалостью, что не может сгореть немедленно, думал Артём о себе. — Чтоб тебе сдохнуть, сгнить немедленно! Как же ты родился такой корягой! Такой кривой корягой! Кривой, червивой корягой! С пустой своей головой! С пустой своей головой поганой! Как же? Как я ненавижу тебя! Как же я ненавижу!”

Он оглянулся по сторонам, ища хоть какого-нибудь спасения... И вдруг нашёл её окна — вот же они! — и у окна стояла эта тварь, эта паскудная развратная тварь!.. Но тут же отошла, исчезла, едва поймала его взгляд.

О, как бы он закинул туда камень — с какой бы радостью! Какую бы истерику устроил бы здесь! Как орал бы, что эта сука только что сняла трусы перед лагерником, я бл...ю буду, что говорю правду! Вспорите ей живот — там моё семя! Что же ты делаешь, сука, ты же губишь живого человека! Посмотрите на это окно! Где ты, тварь, куда ты там делаешь? Она спрашивала: “Где у тебя там?” Показать? Вот у меня там! Показать ещё раз? Вот здесь!

Дико — но Артём вдруг снова почувствовал возбуждение: горячее мужское возбуждение, острое и очень сильное.

Естественно, он ничего не кричал, и только вдруг понял, что у него выкатилась огромная незванная слеза. Он подхватил её уже на лету, как холодное насекомое, и сжал в кулаке.

“Твоё тело — взбесилось!” — сказал он сам себе, не понимая, как то, что у него творится в паху, может сочетаться с тем, что творится в его голове.

Вернулся Петро с мешком съестного.

Над головой у него толпой кружились чайки, словно он нёс на голове мясную требуху.

Он ещё раз оглядел всё, что ему предстояло везти, и посоветовал:

— Улепёгивай, м...нь.

Артём развернулся и пошёл.

Через три шага вспомнил и, не оглядываясь, ответил:

— Сам ты м...нь.

Ещё семь шагов он ждал, что его догонят, но никто не догнал.

\* \* \*

Кажется, он даже заснул. Будто шёл, шёл по шаткому льду и упал в прорубь, но в проруби оказалась не вода, а земля, причём горячая, словно разогретая, и очень душная.

И он спал в этой душной земле.

Потом лежал, закрыв глаза, и пытался ничего не слышать, ничего не понимать, ничего не помнить.

“А вот я сейчас открою глаза и увижу маму, — молил он. — И окажется, что я дома, и мне двенадцать лет, и меня ждёт варенье, и муху поймал паук в углу, и она там жужжит, и я придвину стул и, встав на цыпочки, буду смотреть, как он там наматывает паутину на неё, чтоб потом утащить муху в расщелину меж брёвен стены. А мать скажет: “Тёмка, как тебе не жалко? Мне вот жалко муху! Господи, что ж она так жужжит! Иди скорей чай пить!”

— Что она так жужжит, мама? — спросил Артём вслух.

Он открыл глаза. Никакой мамы не было.

Постучались в дверь.

Артём сел. На полу лежали болотные сапоги — так бы и порезал их на куски!

“Какого чёрта они не откроют сами, — подумал Артём, невесть кого имея в виду под словом “они”. — Дверь не заперта!”

— Кого там? — спросил он громко.

Дверь медленно — зато со скрипом — отворилась, и на пороге образовался Василий Петрович.

Артём выдохнул так, словно если не весь груз, то хотя бы часть его вдруг упала с души.

— А я увидел вас, как вы по двору идёте. И такой красивый, такой поджарый и помолодевший... Когда б вас в Москву — комсомольские барышни бы таяли... и в таких сапогах! — с порога зажурчал Василий Петрович, весь щурясь, как рыболов.

— Тьфу на них! — сказал Артём, глянув на сапоги, и снова почувствовал, как близко у него слёзы.

— Отчего же это, — удивился Василий Петрович, тоже заметив сапоги на пути у себя. — Мне бы такие очень понадобились — осень уж близится, осень, а мои развалились совсем.

Артём вдруг вспомнил и зажмурился от душевной боли, что свою собственную одежду он сложил в тот тюк, куда засунул форму для всех остальных, и её теперь красноармеец увёз к Эйхманису. Да что ж это такое-то!

Он бросился к окну: вдруг этот Петро так и стоит во дворе? Но его, естественно, не было, а на том месте перетаптывался олень Мишка.

День уже явно прошёл: наполнил белёсый соловецкий вечер.

— Что такое, друг мой? — спросил Василий Петрович озадаченно. — Что вы мечетесь, как Чацкий?

Артём обернулся и некоторое время смотрел на Василия Петровича, ничего не говоря.

— Да и чёрт с ним! — решил он, наконец, вслух, махнув рукой.

“Тебя завтра же расстрелять могут! — сказал себе Артём, — А ты о старых штанах печалишься!”

По совести говоря, он уже не очень верил в то, что его убьют: а за что? Его задержали в ИСО, он не виноват. Десятника ударил? Так он уже не десятник был, а освобождённый по амнистии бывший лагерник, к тому же пьяный.

Вся эта правота, конечно, выглядела шатко, но она же была.

— Как вы сюда попали, Василий Петрович? — спросил Артём, ещё не улыбаясь, но понемножку оживая.

— Я же ягодами то одних, то других кормлю, — готовно отвечал его старший товарищ. — Везде свои люди, без блата никак; они ж все не пойдут в двенадцатую роту за брусничкой, вот я им и разношу время от времени... И вам вот принёс, — в каждом слове милейшего Василия Петровича были разлиты ирония и самоирония, доброта, и лукавство, и новоявленная мудрость соловецкого жития.

Он выставил на стол кулёк смородины вперемешку с малиной — Артём и не помнил, когда ел эти ягоды.

— Можно? — переспросил он.

— Нет-нет-нет, — с деланой строгостью запротестовал Василий Петрович. — Только смотреть. Полубуетесь вволю, чтоб подразниться, — и я дальше по ротам понесу свои ягоды, — и засмеялся. — Кушайте! Кушайте, Тёма.

Василий Петрович уселся напротив Артёма, на кровати Осипа.

Артём схватил кулёк, тут же зачерпнул горсть ягод и отправил в рот.

Как испитанный человек, он предложил и Василию Петровичу, на что тот, не переставая солнечно щуриться, ответствовал, подняв вверх раскрытую ладонь и несколько раз качнув ею влево-вправо.

— Как там в нашей роте? — спросил Артём, облизываясь.

— А всё как-то так, — ответил Василий Петрович, — в тяготах и суете. Лажечников умер. Неужели не знаете? Вроде бы, когда вы лежали в больничке, тогда и умер? Афанасьева к артистам перевели. Блатные — блатуют и лютуют иногда. Кормлю их ягодами, Артём, представляете, какой позор старику? Бурцев... Ну, про Бурцева вы сами всё поняли — лучше он не становится, только хуже. Китайца из нашей роты он, кажется, доконал совсем: уехал наш доходяга в карцер, и с концами... Крапин — на Лисьем острове, кого-то там разводит, кажется, не совсем лисиц...

— А вы, значит, всё ягоды собираете? — спросил Артём, как бы поддерживая разговор — ему было ужасно вкусно и говорить не хотелось.

— А я всё ягоды, — согласился Василий Петрович. — А вы?..

Артём дал понять, что сейчас дождёт и ответит, а сам подумал: “Сейчас я скажу милому Василию Петровичу, что начальник лагеря Эйхманис назначил меня старшим в поиске кладов — да-да-да, кладов! — на соловецких островах, после того, как мы с ним два дня пили самогон, — да-да-да, с ним пили самогон! — а сегодня я приехал сюда и на третьем этаже Информационно-следственного отдела во время допроса изнасиловал сотрудницу лагеря... или она меня изнасиловала. Да-да-да, разделись почти донага, на мне остались так понравившиеся вам болотные сапоги и спущенные галифе, а на ней — рубашка с закатанными рукавами, и мы неожиданно вступили в плотскую, чёрт возьми, связь. Скажу — и Василий Петрович решит, что я сошёл с ума. И будет прав... Забыл сказать, что Галина — любовница Эйхманиса, Василий Петрович”.

Прокрутив этот монолог в голове, Артём почувствовал натуральное головокружение и болезненную тошноту.

“Это ни в какие ворота...” — сказал он себе, чувствуя, как на лбу и висках разом появился бисерный пот.

Так как Артём всё не отвечал, а лишь делал странные знаки глазами — мол, ем, всё ещё ем, и сейчас всё ещё жую, а теперь глотаю, — Василий Петрович решил ответить за него сам:

— Мне казалось, вы попали... как они это называют? На спартакиаду?.. Но я прохожу последние дни мимо спортивной площадки — вас там не видно.

— Да, — очень твёрдо ответил Артём, но больше ничего не сказал.

И к ягодам он больше не прикасался, держа кулёк в руке. Рука была мокрой.

— Ну, хорошо, — кивнул тактичный Василий Петрович. — Потом расскажете. Я что зашёл: раз уж вы здесь, пойдёмте на наши соловецкие Афины? Мы сегодня собираемся. Мезерницкий, опять же, про вас спрашивал. И владычка Иоанн интересовался.

— А когда? — встрепенулся Артём.

— А вот сейчас, — сказал Василий Петрович, поднимаясь. — Вы, как я вижу, не очень заняты. Там, не поверите, будет некоторое количество пьянящих напитков. У вас есть какие-то закуски?

— У меня? — Артём полез под свою лежанку, так и не выпуская из рук кулёк с ягодами.

— Дайте я подержу, — предложил Василий Петрович.

Не глядя, Артём протянул ягоды. Следом — обнаруженные в ящике консервы.

— О, мясо-гороховые... — с интересом сказал Василий Петрович. — И ещё одни. Где вы их набрали?

— Не помню, — ответил Артём снизу.

— Хорошо живёте, — сказал Василий Петрович.

— Хорошо, — эхом отозвался Артём.

\* \* \*

— А что, другой обуви у вас нет? — спросил Василий Петрович, когда Артём обувался. — Там, знаете ли, не очень сыро.

— Василий Петрович, прекратите, — с некоторой даже болью попросил Артём.

— Ну, как хотите, как хотите, — примирительно сказал Василий Петрович.

Встречались опять у Мезерницкого.

— Мы приветствуем вас, Артемий, милый наш товарищ по несчастью! — шумел хозяин, обводя рукой то ли накрытый стол, то ли гостей за столом.

— Отчего же... — раздумчиво ответил Артём, разглядывая стол.

— Отчего же “товарищ” или отчего же “по несчастью”? — громко переспросил Мезерницкий.

Артём, будто ничего не понимая, но с улыбкой посмотрел на него в ответ — на том и закончили.

Над столом сияла радуга. Там имелись следующие напитки: лиловый денатурат, желтеющая политура, очищенный солью шеллачный лак — весь в чёрных лохмотьях. Рядом стоял неочищенный — “...на любителя”, — пояснил Мезерницкий. Зеленеющий вежеталь. Цветочный одеколон для дам, хотя никаких дам не было.

— “Букет моей бабушки”, — отрекомендовал Мезерницкий последний напиток.

В соловецких ларьках, между прочим, время от времени продавалась даже водка, в том числе и заключённым, по 3 рубля 50 копеек за бутылку, но на её покупку требовалось отдельное разрешение, появлялась она редко, уходила по блату, поэтому соловецкие лагерники старались обходиться своими возможностями.

— Что за праздник? — доброжелательно спросил Артём, разглядывая из-за плеча Мезерницкого, кто тут ещё есть в келье.

— Разве русские люди пьют, чтобы праздновать? — спросил Мезерницкий.

— Празднуют, чтобы пить, — с нарочитым бесстрашием сказал Граков; он привстал и подал руку Артёму.

— А владычка Иоанн нас благословит, — сказал Мезерницкий, обращаясь к батюшке.

— Упаси Бог, милый, — сказал владычка, улыбаясь Артёму, но разговаривая с Мезерницким. — Молю Господа, чтоб сия трава не пошла вам во вред.

— У Мезерницкого именины, — шепнул Василий Петрович Артёму.

— Что ж вы! А я пустой, — озадаченно ответил Артём. Василий Петрович покачал головой в том смысле, что ничего и не надо.

— Колесо истории едет мимо целых народов, а нас задело заживо, — отвечал Мезерницкий владычке. — Мы лечим раны, — и снова показал на радужный стол и покачивающиеся напитки.

— Переехало! — в тон Мезерницкому добавил Граков, видимо, имея в виду колесо истории.

— Нас всех намотали на это колесо, — продолжал Мезерницкий, степенно кивнув Гракову в знак согласия. — Не поймёшь, где голова, где зад, руки-ноги торчат в разные стороны, один глаз вытек, другой всосало в черепушку, и он там плавает, между мозгом и носоглоткой, боясь выглянуть наружу, но!.. Но, друзья мои!

— Вы лошадь погоняете, голубчик? — ласково спросил Василий Петрович Мезерницкого.

— Нет! — очень серьёзно ответил Мезерницкий. — Но ставлю разделительное “но”! Потому что всю свою юность мы проговорили о народе. О народе, как о туземцах. О его величии и его судьбах. О его непознанности. Мы даже идею Бога, — тут Мезерницкий быстро взглянул на владычку, — познали и обрушили, но до народа так и не добрались. И вот оно! Состоялось место встречи! Место встречи народа и Серебряного века! Серебряный век издыхает, простонародье просыпается. Что мы должны сделать? То, что не сделали толстовцы и народники, — вдохнуть дух просвещения в туземные уста и уйти с миром.

— Мировоззрение Мезерницкого несколько противоречиво, — с мягкой улыбкой сказал Василий Петрович. — Не далее как в позапрошлый раз он говорил, что аристократия, и даже, ясней выражаясь, белогвардейцы и каэры, в силу своего естественного превосходства способны постепенно заменить большевиков. По той простой причине, что большевики мало что умеют, а раздавленная и обесчещенная аристократия умеет всё, что легко доказать, наблюдая управленческие кадры Соловецкого лагеря, где, как выражался Мезерницкий, одни “наши”.

— Да, всё меняется, — согласился Мезерницкий. — Человек меняется, я меняюсь, идёт постоянный обмен веществ, целые народы меняют кровь на кровь, око на око, огонь на огонь — что вы хотите от меня? Всё течёт! Я тоже теку.

Произнеся речь, Мезерницкий исхитрился глазами показывать Артёму на напитки: этот? Или этот? Что предпочтёте?

— Да любой! — сказал Артём вслух. — Всё одно!

— Не скажите, — ответил Мезерницкий и налил Артёму что-то зелёное.

— Я одного не понял, — сказал Василий Петрович. — Отчего ж дух просвещения надо вдохнуть именно здесь? Неужели ж нет другого, более удобного места в России?

— Нет! — уверенно и даже чуть тряхнув головою, ответил Мезерницкий. — Здесь мы — уста в уста. Там красноармеец, пролетарьят, беспризорник — любой из них убежит, спрячет голову матери или жене в подол, в мох, в корневища... Как ты его лицо обернёшь к себе? А здесь — всюду его лицо, куда ни дыхни.

— Вы ведёте разговор... как акробат, — с некоторым, впрочем, добрым разочарованием сказал Василий Петрович.

— Здесь происходит исход не только Серебряного века, — будто бы не услышав, а на самом деле отвечая на сказанное, говорил Мезерницкий. — Здесь заканчивают свой путь последние Арлекино. Последние денди. Взгляните, к примеру, на эти болотные сапоги, — и Мезерницкий указал на сапоги Артёма, одновременно чокаясь с ним.

— Прекратите, слышите, — с улыбкой попросил Артём, удивлённо чувствуя, что краснеет. — Я не нарочно...

— Хорошо, хорошо, — поспешно согласился Мезерницкий и поискал глазами, кого бы привести в качестве примера: владычка Иоанн не очень подходил. Граков — тоже нет. Василий Петрович... увы.

Пример явился, как заказывали.

Артём сразу вспомнил, кто это и как его зовут, — Шлабуковский, артист. Это он лежал с лихорадкой в больнице и объяснил Артёму, что ему который день ставят градусник с чужой температурой. Вернее сказать — с его, Шлабуковского, температурой...

Но это был другой человек! Во-первых, он был в чёрных перчатках с белыми стрелками. Во-вторых, с тростью. В-третьих, в ботинках с замшевым верхом и отличных, от портного, брюках. Наконец, в твидовом пиджаке.

— Вы опять вынесли на себе весь театральный реквизит, душа моя, — сказал Мезерницкий.

Шлабуковский равнодушно, со скрытым весельем отмахнулся. Похоже, он тоже узнал Артёма.

— Ну, что, спала температура? — спросил Шлабуковский.

— У нас же общая температура, — ответил Артём. — Судя по вам, спала!

Шлабуковский почти беззвучно захохотал, кажется, очень довольный шуткой. Артём никогда не видел такого смеха: неслышного, но заразительного.

— Шлабуковский, прекратите ваш припадок удушья; когда вы, наконец, научитесь смеяться вслух, — донимал его Мезерницкий, но, похоже, они были настолько дружны, что вправе были не обращать друг на друга внимания.

— У вас там шарлотка подгорает, — сказал Шлабуковский с большим достоинством и поставил трость в угол, положив сверху перчатки.

— Чёрт! — сказал Мезерницкий по поводу шарлотки, владычка Иоанн перекрестился. Мезерницкий выпил залпом свою дрянь, и Артём понял, что ему тоже пора, но спросил у Шлабуковского: “А вы?” — тот оглядел стол и ответил: “Чуть позже!” — с таким видом, словно через семь минут должны будут принести его любимое шампанское 1849 года.

Артём выпил. Чувство было такое, словно ему плеснули в рот и заодно в глаза краску, перемешанную с кислотой, — это не глоталось, но жгло и душило.

Некоторое время он пребывал в уверенности, что сейчас умрёт.

Открыл рот, попытался выдохнуть: воздух исчез.

Чудом появился Мезерницкий, будто знавший заранее, чем дело закончится, — в руках он нёс сразу четыре кружки ячменного кофе.

— А вот, а вот, — засуетился он около Артёма. — А запить. А остыл уже.

Артём скорей сделал глоток: разбавил краску.

Но, удивительно, воздух едва начал проникать в лёгкие, а на душе уже становилось теплее и будто бы чище.

Владычка Иоанн смотрел на него, как на родное дитя, и, едва Артём вздохнул, батюшка и сам задышал.

Он обладал удивительным качеством — ни с кем не разговаривая, поддерживать всякий разговор: настолько полным понимания и вовлечённости был его взгляд.

Мезерницкий опять ушёл и вернулся с блюдом, на котором располагалось что-то пышное и очень ароматное, несмотря на то, что чуть подгоревшее, — видимо, та самая шарлотка.

— Бог ты мой, а я и не поверил, — всплеснул руками Василий Петрович. — Думал, шутка. Как же вы её приготовили, голубчик?

— На Соловках, как мы знаем, возможно всё, — отвечал Мезерницкий, ставя блюдо на стол, который поспешно пришлось освободить, причём бутылки и склянки разноцветно зависли на вытянутых руках гостей, по-птичьи подыскивая себе место. И лишь когда всё спиртное и съестное обрело некоторый покой, честно рассказал:

— Купили сушеную дикую грушу, Василий Петрович — уже поддела. Нашли масло и повидло. Тюлений жир. Наконец, чёрные сухари. И вот вам — угощайтесь. Артём, ещё по одной? Тут все непьющие.

— Под шарлотку я всё-таки рискнул бы, — сказал Василий Петрович.

— Ну, так рискнём! — сказал Мезерницкий и налил себе с Артёмом по второй, а Василию Петровичу — прорывную.

— Артём, — сказал Василий Петрович чуть патетично, хотя в глазах его было наглядное лукавство, — мы с вами столько...

— Ягод съели, — подсказал Артём.

— Да, — согласился Василий Петрович, будто бы даже охмелевший заранее. — И ни разу ещё не выпили. Непорядок!

— Выпьем не раз ещё, — сказал Артём, тоже немного — насколько умел — расчувствовавшийся.

— Думаете? — очень серьёзно спросил Василий Петрович, словно Артём знал нечто, ему неизвестное.

— Думает! — ответил за него Мезерницкий, уставший их ждать со стаканом в руке. — *Ergo bibamus!* — и сам себе перевёл с латыни: — Следовательно, выпьем!

И выпил.

Артём во второй раз потерял воздух и снова застыл в его ожидании. Василий Петрович на удивление легко перенёс употребление ещё более, казалось бы, злого, в чёрных лохмотьях напитка, и поспешно искал младшему товарищу кружку ячменного кофе, заодно самовольно отломил ему — но не себе! — кусочек ещё не тронутой шарлотки.

Тем временем Мезерницкий заставил всех на минуту задуматься.

— Знаете ли вы, мои образованные друзья, что выражение "*ergo bibamus*" — "следовательно, выпьем" — позволяет прекратить любой спор и любую фразу превратить в тост?

Артём сначала выпил глоток кофе, а потом уже попытался осознать смысл сказанного. Внутри него песочными волнами осыпалось сознание и подступал тяжёлый хмель.

— Граков, будешь пить? — спросил Мезерницкий как бы в качестве примера, подтверждающего его слова.

— Вы же знаете, я не пью, — сказал Граков чуть напуганно.

— Я не пью, *ergo bibamus!* — завершил Мезерницкий и действительно ещё разлил по одной.

— Милый ты мой, дай же ты ребёнку отдышаться, как с цепи сорвался! — не удержался тут владычка Иоанн.

— Да! — осушив третью, воскликнул Мезерницкий. — Именно! С цепи сорвался, *ergo bibamus!*

Все захохотали, и владычка тоже тихо засмеялся, прикрывая глаза рукой.

— Так решительно не получится разговаривать, — пожаловался со слезой в лукавом голосе Василий Петрович и, естественно, тут же попался на крючок.

— Решительно не получится разговаривать, *ergo bibamus!*

Пришлось пить ещё одну.

Все застыли, как дети в игре, переглядываясь и сдерживая смех. У Артёма внутри неожиданно стало сладко-сладко: и Эйхманис, и красноармеец Петро, и тюк с одеждой, и десятник Сорокин с потными подмышками, и эта сука ушли сначала далеко-далеко, а потом всё та же сука, перевернувшись в мягком и чарующем воздухе, вернулась обратно, и он неожиданно почувствовал её запах, и её дыхание, и её обветренные губы...

Остальные между тем пытались найти хоть какое-то слово, которое не способно было бы привести к немедленному употреблению радужного алкоголя.

Мезерницкий, то ли сурово, то ли смешливо осматривал гостей, как бы пребывая в засаде, но одновременно нарезая шарлотку. Ногти у него на этот раз, заметил Артём с удовлетворением, были чистые и стриженные.

“Именины же!” — пояснил он себе.

Владычка Иоанн, кажется, готов был прочесть молитву перед принятием совместного ужина, но, видимо, всерьёз опасался немедленно услышать *pro ergo bibamus*.

— Как я вас, — строго, но с иронической, всех расслабившей модуляцией в голосе сказал Мезерницкий. — Говорить, однако, можно о чём угодно! Просто результат любого спора предопределён!

И все разом, будто желая вдосталь наобщаться, пока их не поймали за рукав, заговорили.

\* \* \*

— Я был в Крыму: ещё дамы, ещё эполеты, но ничего этого уже нет, эта жизнь умерла!.. Есть мёртвые города, где уже никто не живёт и остались лишь руины. А это был мёртвый город с живыми людьми! — говорил Мезерницкий, который как-то странно пьянел: как будто его обволакивало тёплое, чуть туманное облако; оно глушило любые звуки, и каждое слово давалось ему с некоторым трудом. — Грустно? Грустно! Но отчего же нам не грустить сейчас — всего этого тоже скоро не будет.

— Чего? — не понял Шлабуковский.

— Всего, — и Мезерницкий развёл руками. — Рот, баланов, леопардов, десятников, Эйхманиса... ничего! Вы не понимаете, что мы из одного мифа тут же перебрались в другой? Троя, Карфаген, Спарта... Куликово поле, Бородино, Бастилия... Крым, Соловки. Понимаете?

— Я не хочу в миф, — сказал Шлабуковский. — Я хочу в кроватку с пижамками. И рисованными амурами в головах. И чтоб я в пижаме... Тем более я не вижу никакой разницы между Крымом и Соловками. По-моему, Крым в момент прорыва туда большевиков и махновцев оторвало от большой суши, какое-то время носило по морям и вот прибило сюда. Публика примерно та же, только она забыла уплыть вовремя в Турцию.

— Вы, Шлабуковский, анархист и мещанин в одном лице, — сказал Мезерницкий. — Хотя, с другой стороны, кем ещё нужно быть, чтоб пойти в артисты.

Граков рылся в книжках на полочке.

Василий Петрович сидел за столом и задумчиво жевал что-то, не более травинки величиной.

Артём забрался с ногами на лежанку Мезерницкого, сняв сапоги, в которых было чересчур жарко, и внимал одновременно и Шлабуковскому, и владычке Иоанну, который только что всё-таки пригубил рюмку чего-то липового.

— Церковь — человечество Христово, а ты вне Церкви, ты сирота, — тихо говорил владычка Иоанн. — Верующий во Христа и живущий во Христе — богочеловек. А ты просто человек, тебе трудно.

Артём слушал владычку, и ему казалось, что голова его очищается, как луковица, — слой за слоем... И сначала было легко, всё легче и легче, как будто он научился дышать всем существом сразу, и всё вокруг стало прозрачнее... Но одновременно нарастала тревога: что там, внутри у него, в самой сердцевине, — что?

Вот ещё одно слово владычки, для которого Артём был как на ладони — и вот ещё одно, и вот ещё третье... А вдруг сейчас последний лепесток отделят, а там извивается червь? Червь!

Будто бы беду ответили — так почувствовал Артём, когда Мезерницкий, похоже, умевший, невзирая на своё облако, одновременно и говорить, и слушать, вдруг оставил свою тему и перебил владычку:

— А я вот иногда думаю, отец Иоанн: какое христианство после такого ужаса?

Владычка Иоанн чуть устало, но очень миролюбиво посмотрел на Мезерницкого. Глаза у владычки были совсем засыпающие: умаялся, бедный.

— А первохристиане что? — спросил он негромко, но таким тоном, словно первохристиане только что были где-то здесь. — Их рвали львы. А Христа что? Его прибили гвоздями! А Он — Сын Бога! Бог отдал Сына.

— Вся Россия друг друга прибывала гвоздями, — сказал Мезерницкий. — Она теперь не хочет в Бога верить. Пусть Бог верит в неё, его очередь.

Владычка через силу улыбался, словно смотрел на свое чадо, которое распалось, но сейчас успокоится.

— А Он верит, Он верит, — согласился владычка. — Его очередь — всегда, Он и не выходит из очереди. Сказано: любяй душу свою — погуби ю, а ненавидяй душу свою — обращает ю. Россия свою душу возненавидела, чтоб обрести.

— А она обретаёт, — вдруг взял на тон, а то и на два выше Мезерницкий. — Обретаёт! — даже Граков обернулся на этот голос, а Василий Петрович перестал жевать травинку.

Мезерницкий сделал такое движение двумя руками, словно разорвал это самое невидимое облако и вылез, наконец, наружу, вспотевший и замученный.

— Батюшка у нас книг не читает. В России попы вообще книжность не очень любят, поскольку она претендует на то место, что уже занято ими... на место, откуда проповедают, — сказал Мезерницкий очень чётко, Василий Петрович на слове “попы” поднял посуровевшие глаза и всё-таки смолчал. — Но тем не менее Россия уже сто лет живёт на две веры. Одни — в молитвах, другие окормляются Пушкиным и Толстым. Граков, что там у тебя? Толстой или Пушкин? Тургенев? И Тургенев хорошо! Потому что беспристрастное прочтение русской литературы, написанной, между прочим, как правило, дворянством, подарит нам одно, но очень твёрдое знание: “Мужик — он тоже человек!” Самое главное слово здесь какое? Нет, не “человек”! Самое главное слово здесь — “тоже”! Русский писатель — дворянин, аристократ, гений — вошёл в русский мир, как входят в зверинец! И сердце его заплакало. Вот эти — в грязи, в мерзости, в скотстве — они же почти как мы! То есть почти как люди! Смотрите, крестьянка — она почти как барышня! Смотрите, мужик умеет разговаривать, и однажды сказал неглупую вещь, на том же примерно уровне, что и мой шестилетний племянник! Смотрите, а эти крестьянские дети — они же почти такие же красивые и весёлые, как мои борзые!.. Вы читали сказки и рассказы, которые Лев Толстой сочинял для этого... как его?.. для народа? Если бы самому Толстому в детстве читали такие сказки, из него даже Надсон не вырос бы!

— Вы к чему ведёте? — спросил Василий Петрович несколько озадаченно.

— А вы подождите, Василий Петрович, — ответил Мезерницкий. — *Ergo bibamus* нас всё равно ждёт, оно неизбежно. Пока же — о Толстом, и то в качестве примера. Можно Толстого сменить на Чехова... Граков, поставьте книгу на место, хватит её жать! Будет такая же история. Чехов —

он вообще никого не любит; но всех он не любит как людей, а мужик у него — это сорт говорящих и опасных овощей... Это что-то вроде ожившего и злого дерева, которое может нагнуть и зацарапать. Наши мужики ходят по страницам нашей литературы, как индейцы у Фенимора Купера, только хуже индейцев. Потому что у индейцев есть гордость и честь, а у русского мужика её нет никогда. Только — в лучшем случае — смекалка... А чести нет, потому что у него в любую минуту могут упасть порты, — какая уж тут честь!

— И всё-таки? — спросил Василий Петрович, которому монолог Мезерницкого с самого начала не нравился.

— Большевики дают веру народу, что он велик! — сказал Мезерницкий, явно сократив себя — слов у него в запасе было гораздо больше. — И народ верит им. Большевики сказали ему, что он не “тоже человек”, а только он и есть человек. И вы хотите, чтоб он этому не поверил? Беда большевиков только в одном: народ дик. Может, он не просто человек, а больше, чем человек, только он всё равно дикий. По нашей, конечно же, вине, но это уже не важно. Что делать большевикам? Понятно, что: не падать духом! Но сказать мужику: мы сейчас вылепим из тебя то, что надо, выкуем. Мужик, естественно, не хочет, чтоб из него ковали. Его, понимаете ли, секли без малого тысячу лет, а теперь решили розгу заменить на молот — шутка ли! Однако уже поздно. Сам согласился.

— Мы-то здесь при чём, голубчик? — спросил Василий Петрович.

— Мы? — искренне удивился Мезерницкий. — Мы вообще ни при чём — нас уже нет. Мы сердимся на немца-губернёра, что он кричит на нас: как он смеет? Вот бы его убить! Мы бегаем по лугу и ловим сачком бабочек. Потом они лежат и сохнут в коробках, забытые нами. Мы совращаем прислугу и не очень стыдимся этого. Мы ворует папиросы из портсигара отца... Мы — в эполетах, и заодно лечим триппер — в этом самом своём Крыму, в жаре, голодные, больные предсмертной леностью мозга... И всё собираемся взять Москву, всё собираемся и собираемся, хотя ужасно не хочется воевать — как же не хочется воевать, Боже ты мой! Тем более что индейцы победили нас, у них оказалось больше злости, веры и сил. Индейцы победили и загнали нас в резервацию: сюда.

Мезерницкий сел и очень твёрдой рукой разлил по стаканам — во все стаканы разное.

Артём подумал: отчего же молчит владычка, повернулся в его сторону, а он спит.

Некоторое время Артём смотрел на него с нежностью, пусть и хмельной, иначе никогда бы не посмотрел так, и владычка вдруг открыл глаза, будто почувствовал, что на него смотрят.

В то же мгновение, как его глаза открылись, владычка улыбнулся Артёму, словно добро к нему отношение только и ждало, чтоб проявиться, и с трудом пережидало батюшкин сон.

Владычка быстро перекрестился и, приговаривая: “...Пора, пора, не встану завтра...” — тихо поднялся с таким видом, словно вокруг всё было в стекле, и нужно было исчезнуть как можно тише. Мезерницкий, набрав воздуха в грудь, продолжал в это время что-то говорить, обращаясь почему-то к Гракову; тот поддакивал на разные лады:

— Есть смысл!.. Да-да... Безусловно!.. Отчего бы и нет!..

“У владычки, — думал Артём, — наверняка было в запасе множество чудесных слов в ответ, — но не было смысла тратить их на пьяных и разбитых людей”.

“Заплутавшие мои, милые...” — вот о чём говорил весь извиняющийся и тихий вид владычки.

— Вот только не надо думать, что у меня бред, — сказал Мезерницкий, даже не прожывая взглядом владычку, но обращаясь уже ко всем.

— А никто так и не думает, — ответил Шлабуковский. — Мне тоже налей.

— А мужика тоже будут перековывать в лагере? На воле нельзя? — спросил Артём, едва владычка ушёл: при нём он не хотел участвовать в споре.

— А много ты видел на Соловках мужиков? — спросил Мезерницкий. — Большевики ждут, что мужик и так их поймёт... Если не поймёт — его сюда привезут доучивать... Поймёт сам — ему же лучше. Но в любом случае, Тёма, ковать привычней в кузнице. *Ergo bibamus!*

\* \* \*

— Эти разговоры — они болезненные... Рваные! Но цените их, Артём. Они были в Петербурге. Иногда были в Москве, но реже... Теперь они есть только здесь, и больше их нигде не будет... — говорил Василий Петрович по дороге назад, провожая Артёма. — Какая подлая изжога от этих напитков...

— А владычка? — спросил Артём то, что ещё в прошлый раз собирался спросить. — Почему он с вами? Разве ему это нужно?... — Артём искал подходящее слово и, не найдя, добавил: — По чину?

— Ему-то? — усмехнулся Василий Петрович. — Нет, это нам всю жизнь было не по чину... Ты знаешь, когда я был ребёнком, и отец, — а отец мой был барин, хоть и промотавшийся, — когда он приглашал батюшку в наш барский дом исполнить службу, после службы священника за общий стол не сажали. Ни у нас, ни у соседей, нигде — не са-жа-ли! Это было *моветон*. Его кормили отдельно... Закуску выносили, даже рюмку водки иной раз. И он там ел, один, как дворня... Я уж не говорю про петербургские среды: туда было легче привести чёрта на верёвке — о, все бы обрадовались необычайно! — чем батюшку... Мы все умели — и желали! — разговаривать без попа... А теперь хотим при нём, с ним, вот как повернулись! Чтоб он слышал нас! И жалел!

Василий Петрович о чём-то задумался, но потом другая мысль увела его в сторону, и он, побежав за ней, тут же об этом заговорил вслух:

— Однако я скажу: у Мезерницкого семь пятниц на неделе. Никогда не поймёшь, в чём суть его отношения. Он последовательно говорит взаимоисключающие вещи.

— А он в чём-то прав, — задумчиво сказал Артём; его слегка мутило, но с этим можно было справиться, — о кузнице, к примеру.

Василий Петрович встретнулся, словно он был птицей, и в него бросили камнем, но ещё непонятно — кто.

— Можно иначе сказать — это лаборатория, — продолжал Артём чужими, недавно слышанными словами, хотя жест Василия Петровича заметил.

— Тёма, душа моя добрейшая, о чём ты, никак не пойму, — сказал Василий Петрович, остановившись.

Артём пожал плечами и прямо посмотрел на Василия Петровича.

— Артём, а вы были в цирке? — спросил вдруг Василий Петрович. — Нет? Я к тому, что это не лаборатория. И не ад. Это цирк в аду.

Помолчал и добавил:

— Фантасмагория.

— Я общался с Эйхманисом, — сказал Артём очень спокойно. — Он говорит много разумных вещей. И видит всё с другой стороны.

— Это да, — с некоторой уже издевательской готовностью согласился Василий Петрович. — А вы-то со своей видите, Тёма?

— Не надо горячиться, Василий Петрович, вы сами отлично знаете, что я вижу.

— Я? — искренне удивился Василий Петрович. — Я думал, что знаю, да. Но теперь не уверен! Что вы вообще делаете рядом с Эйхманисом? Вы никогда не слышали такой поговорки: “Близ царя — близ смерти”?

Артём молча смотрел в глаза Василию Петровичу и не отвечал.

— Хорошо-хорошо-хорошо, — неизвестно с чем соглашался Василий Петрович. — Просто расскажите мне, что он говорил, вкратце... А? Что-нибудь о перековке? Переплавке?

Артём по-прежнему молчал.

— Я, естественно, не знаю точно, но могу догадаться, — сказал Василий Петрович шёпотом: на улице хоть и был вечер, но по двору ещё ходили

туда и сюда лагерники и красноармейцы. — Зато я точно знаю, чего он вам не говорил, — здесь Василий Петрович взял Артёма за плечо, сказал: “Отойдём”, — и буквально придавил его к ближайшей стене.

Над головой Артёма была полукруглая арка из белого камня, за спиной — огромный валун стены, пахнувший водой, травой, огромным временем, заключённым внутри него.

— Обсуждали вы такие темы, как посадка заключенных в одном бельё в карцер, представляющий собой яму высотой не более метра, потолок и пол которой выстланы колочими сучьями? — спросил Василий Петрович, дыша Артёму в лицо. — Эйхманис сообщил вам, что лагерник выдерживает не более трёх дней в таком помещении, а потом —дохнет? Рассмешил он вас шуткой про дельфина? Это когда лагерники, услышав красноармейскую команду “Дельфин!”, должны прыгать, допустим, с моста, — если их ведут по мосту, — в воду. Если нет моста, надзор порой расставляет лагерников на прибрежные валуны, и те, заслышав команду, ныряют. И хорошо, если на дворе август, а не ноябрь! А если не прыгают, их бьют, очень сильно, а потом всё равно кидают в воду!.. Не вспомнил Фёдор Иванович, что на местных озёрах лагерников в качестве наказания заставляют таскать воду из одной проруби в другую? Не рассказал, как тут в Савватьевском скиту жили политические — те самые, что вместе с большевиками устраивали их революцию, а потом разошлись во взглядах и сразу угодили на Соловки. Да, они тут не работали, да, только устраивали диспуты и ссорились. Однако когда политические однажды отказались уходить раньше положенного срока с вечерней прогулки, наше руководство подогнало красноармейский взвод, и дали несколько залпов по живым, безоружным людям! Героям, говорю я вам, их же собственной революции!.. Вы, Артём, каким-то чудом избежали обших работ, уже которую неделю занимаетесь чёт знает чем и перестали понимать очень простые вещи. Напомнить их вам? Думаете, если вас больше не отправляют на баланы, значит, никто не тягает брёвна на себе? Думаете, если вам хорошо, всем остальным тоже стало полегче? Здесь люди умирают! Каждый день кто-то умирает! И это — быт Соловецкого лагеря. Не трагедия, не драма, не Софокл, не Еврипид, а быт. Обыденность!

Василий Петрович всё сильнее сдавливал плечо Артёма, потом вдруг расслабил пальцы, убрал руку и отвернулся.

Ещё с полминуты они молчали.

— Да и вас самого тут чуть не зарезали, — донельзя усталым голосом сказал Василий Петрович. — Чуть не затоптали насмерть. Как же так?

— Это не всё, — вдруг сказал Артём. — Он говорил про другое. Он говорил, что мы сами... мы сами себя... И я вижу, что это так.

Василий Петрович быстро обернулся, и глаза его были расширены и едвали не блестя.

— Мы сами себя — да! — разом догадавшись, о чём речь, продолжил Василий Петрович. — Но зачем же он поставлен над нами началом? Чтоб мы сами себя ещё больней мучили?

Где-то поблизости болезненно крикнула чайка, словно ей наступили на хвост, а несколько других заклекотали в ответ.

Василий Петрович упёрся двумя руками в стену возле головы Артёма и нависал над ним.

Артём чуть склонил голову в сторону: смотреть нетрезвому, взрослому, раздражённому, под пятьдесят лет мужчине в глаза — не самое большое удовольствие в жизни.

Отвечать больше не хотелось.

Свистящим шёпотом, будто его озарило, Василий Петрович воскликнул, вдруг перейдя на “ты”:

— Да ты попал под его очарование, Артём! Это несложно, я знаю! Но ты помни, умоляю, одно. Эйхманис — это гроб повапленный! Знаешь, что это такое? Крашеный, красивый гроб, но внутри всё равно полный мерзости и костей!

Артём, наконец, поднял руку и высвободился, почти оттолкнув Василия Петровича.

Он стоял в шаге от него, рассматривая съехавшую набок неизменную кепку товарища.

— Я любил тебя за то, что ты был самый независимый из всех нас, — сказал Василий Петрович очень просто и с душой. — Мы все так или иначе были сломлены, если не духом, то характером. Мы все становились хуже, и лишь ты один здесь становился лучше. В тебе было мужество, но не было злобы. Был смех, но не было сарказма. Был ум, но была и природа... И что теперь?

— Ничего, — эхом, неожиданно обретши разум, ответил Артём.

А что он ещё мог ответить?..

Поискал глазами, где его рота, и резко направился туда. Через два шага его всё-таки вырвало. Артём даже не остановился, лишь переступил через гадкую лужу, вытер губы рукавом — от рукава ужасно пахло одеколоном и желудочным соком — и поспешил к своему корпусу.

Чайки гурьбой слетелись клевать то, что осталось на земле после того, как он ушёл.

\* \* \*

Утром пришёл красноармеец, сказал: “Собирайся!”

Артём спал плохо и мало, проснулся до зари и долго лежал лицом к стене, не шевелясь. Сначала пытался не думать — ничего не вышло, потом пытался думать — тот же результат.

Пока Осип собирался на работу, Артём делал вид, что спит.

— Что ж так пахнет духами, — несколько раз спросил Осип, нюхая воздух. — Артём! Артём, спишь?.. Или одеколоном?

“Нет, бля, не сплю — дрова рублю”, — мысленно отвечал Артём, желая Осипу, как в той приговорке, осипнуть и вообще провалиться к чёрту.

А потом — красноармеец.

Артём сидел на лежанке, пытаясь по его виду понять, что же теперь случится.

Ничего понять было нельзя, пришлось собираться.

О, эти болотные сапоги.

Красноармеец внимательно смотрел, как Артём их надевает.

Женские чулки Артёму было бы менее противно натягивать.

“Что он так смотрит, — думал Артём. — Может, он собирается снять их с меня сразу после расстрела?..”

Иной раз такими мыслями Артём себя удивительным образом взбадривал, но тут получилось едва ли не наоборот: его вдруг снова затошнило, руки потеряли крепость, сапоги не лезли, и не лезли, и не лезли — это был смех и позор какой-то...

Артём встал — носок так и не пробрался вовнутрь, несколько шагов он прошёл, как хромым конём.

— Натяни сапог-то, — сказал красноармеец равнодушно. — Нет, что ли, другой обувки-то?

— Нет, — ответил Артём, сам едва услышав свой голос.

Дорога вела в ИСО.

На втором этаже он встретил Бурцева; тот быстро спускался вниз, под мышкой — папка с бумагами, дорогу не уступил, пришлось посторониться и красноармейцу, и Артёму... Так и прошелестела эта сволочь мимо, даже не кивнув, как будто и не были знакомы никогда.

На третьем этаже всё в том же кабинете ждала Галина, с поджатыми губами, с ледяным взглядом, но пахнущая духами.

Кивнула ему на табуретку.

Артём сел.

Фотография Эйхманиса под стеклом был перевёрнута лицом вверх, с удивлением заметил он.

“Зря она ему рога не пририсовала”, — подумал Артём из своего душно-го душевного подземелья.

Галина придвинулась ближе к столу, в упор, так что объёмная грудь её тяжело застыла ровно над столом.

— Если ты, — сказала Галина одними губами, — скажешь хоть слово — проживёшь ровно столько, сколько нужно, чтоб довести тебя “под размах”. Никакого карцера не жди, по тебе донесений — как раз на три расстрела. Тебе хватит и одной пули.

Артём поднял глаза на Галину и кивнул.

Она тоже кивнула: хорошо.

— Никому ещё не похвастался? — чуть громче спросила она. — О чём вчера шептался с Василием Петровичем своим во дворе?

Артём проглотил слюну, не зная, что сказать.

— О другом, — выдавил он.

Галина недолго разглядывала Артёма.

— Так как ты у нас остался без работы, — сказала она, вернувшись к бумаге на своём столе, — пришлось... оформить тебе новую должность... С сегодняшнего дня Артём Горяинов направляется... сторожем в Йодпром. Ваш сосед Осип Троянский там работает, так что... теперь поработаете вместе. Придёте — вам всё там покажут... На таких должностях у нас обычно духодетство трудится в поте лица... Вот будете, как попович.

Некоторое время они сидели молча.

Галина постукивала карандашом по столу.

На щеках её выступил румянец, заметил Артём.

Выражение глаз её с ледяного понемногу сменилось на чуть более живое, словно бы она задумала какое-то озорное девичье дело.

— Спасибо, — сказал Артём тихо и внятно.

— Ага, — сказала Галина беззаботным голосом, каким, наверное, разговаривают барышни на Арбате.

Вниз по лестнице Артём почти бежал, как в гимназии, несказанно много лет назад...

“Живой, живой, живой, — повторял он. — Я живой. Я такой живой. Я не хочу быть богочеловеком. Я хочу быть живым сиротой. Без креста и без хвоста... Да!”

Некоторое время он метался по келье, как влюблённый перед свиданием. Впрочем, собирать ему всё равно было почти нечего: паёк как участник спартакиады он уже не получал, вещи у него остались только тёплые, зимние, а погода ещё нежилась, отекала солнечно в преддверии августа.

“Что же мне теперь, голодным быть?” — встрепенулся Артём, благополучно забыв, что если б ему полчаса назад сказали бы: кормить тебя не будем вовсе, зато не расстреляем, он был бы согласен, благодарен и безмерно счастлив.

Есть очень хотелось. У него под лежанкой, помнил Артём, были овощи, хоть и много, а хотелось чего-нибудь вроде мяса большим куском.

Не раздумывая, он выдвинул ящик из-под кровати Осипа. Осип был богат: похоже, только что получил посылку. Сушёные вишни и черешни. Варенные в сахаре груши. Макароны в марлевом мешочке. Рис, гречка, горох. Горчица, сало. Орехи... Хлеб.

“Только несколько вишен и горсть черешен...” — рассудительно решил Артём и тут же набил полный рот.

“И сала... — разрешил себе, — один кусочек”. Благо оно было нарезано и недоедено.

“Наверное, матушка, так и прислала ему сало — нарезанным, — догадался Артём. — А то сам Осип так и грыз бы его, пока челюсти не вывернул”.

Одним кусочком не обошлось, и тремя бы не обошлось тоже, если б Артём не скомандовал себе: всё, пора, пора, уходи. Всё-таки сушёные вишни и сало — это чудесная штука.

“Как вернусь домой — только этим и буду питаться”, — решил Артём. До Йодпрома было два километра сосновым лесом.

Артём знал эту дорогу, да она и нехитрая была: из кремля на север, мимо тишайшего, как Алексей Михайлович, озера по гранитной набережной, через пути узкоколейки — и спустя несколько минут работающих кто где ла-

герников и конвойных совсем не будет видно, потому что дальше прямо, прямо, прямо, лес слева, лес справа, очень спокойно, почти беззвучно, только если прислушаться, услышишь ручей, текущий в Святое озеро.

“Не по плису, не по бархату хожу... а хожу-хожу по острому ножу...” — тихо напевал Артём по дороге. Ему казалось, что это очень весёлая песня.

“Если б я умел размышлять, — думал Артём, — я стал бы как Мезерницкий: я был бы уверен сразу во всём, особенно в самом неприятном, и эта уверенность не огорчала бы меня...”

“Какие все люди непонятные, — думал Артём. — Никого понятного нет. Внутри внешнего человека всегда есть внутренний человек. И внутри внутреннего ещё кто-нибудь есть. Вот Шлабуковский — он какой? Афанасьев — какой? Граков — кто там внутри Гракова? Моисей Соломонович — разве он то, что он есть, то, что поёт свои бесчисленные песни? Бурцев? Крапин? Кучерава? Борис Лукьянович? Щелкачов? Захар? Лажечников?.. Хотя нет, он уже умер... Ксива? Жабра? Каждый из них был ребёнком, который залезал маме на колени? Когда они слезли с этих коленей?”

Ему не очень хотелось вспоминать вчерашние слова Василия Петровича, хотя, с другой стороны, он ведь сказал, что Артём здесь становился лучше, как это странно, ведь сам он не замечал за собой ничего такого. Он вообще себя не замечал, он просто был тут и делал всё, чтобы не умереть.

“Но ведь и другие так же делают, — думал Артём. — Или не так же?.. А как делают другие? В чём моё отличие от них? Надо бы спросить у Василия Петровича, а то я не понимаю”.

Артём нарочно не вспоминал Эйхманиса и Галину, потому что это были трудные мысли, они тревожили его, по-разному, но тревожили, а он не хотел тревожиться.

Тем более если Артём на мгновение отпускал своё сознание на волю, он тут же очень внятно чувствовал ладонью грудь Галины, которую он разыскал в её рубашке, оторвав четвертую пуговицу сверху, и вывалил наружу, и сосок её, ужасно твёрдый, упирался ему ровно посередине ладони... Куда было идти с такими мыслями?..

Если они настигали, надо было бежать от них, как от комарья, чтоб не сожрали. Вот и сейчас Артём немного пробежал, рванувшись с места, и снова почувствовал, какой он лёгкий, молодой, красивый. Убеждение было такое, что если он с размаху влестится плечом в сосновый ствол, то сосна, крикнув, завалится.

Через сто метров сбавил шаг, дыхание почти не сбилось, зато навада эта осталась позади, и ладони снова были пусты — хватайся ими за воздух, следуй дальше.

У дороги лежала поваленная берёзка. Листья её были красные, словно напитались кровью.

С дороги налево, до деревянной калитки, и там, на пригорке, стояло белое здание, аккуратное, как торт, три окна с торца, четыре — с лица, посредине крыльечко со ступеньками: Филиппова пустынь. Здесь и располагался теперь Йодпром; раньше он был в другом месте, видимо, только что переехал.

Возле здания в палисадничке виднелось что-то вроде бревенчатого курятника с маленьким окошком и маленькой дверцей; быть может, это была келья того самого Филиппа, кто знает. Как бы только он входил в эту дверцу? Разве что кланялся каждый раз до земли.

Поодаль дома стоял высокий крест, под крестом — колодец.

Артём по-хозяйски прошёл туда выпить воды.

Теперь это будет место его обитания.

Вслух он об этом не думал, но вся душа его молила, чтоб здесь он и остался до конца срока — посреди леса, никем не видимый, никому не нужный, всеми забытый.

“Наверное, она хочет, чтоб я ни с кем не общался и заткнулся, — подумал Артём. — Так я готов рот запечатать и принять обет молчания...”

Вода была холодной и вкусной.

— Ну, что, дедушка Филипп, — сказал Артём вслух, — принимай постоляца! Без креста и без хвоста.

Осип встретил Артёма удивлённо, даже спросил вроде как в шутку, потому как шутить он не очень умел, и прозвучало это сурово:

— Вас присматривать, что ли, за нами прислали?

Артём хмыкнул.

Осип и сам, видимо, догадался, что был отчасти бестактен, поэтому тут же перевёл разговор:

— Мы совсем недавно перебрались сюда. Тут неплохо. Пойдёмте, покажу, как живём.

Коллеги Осипа к Артёму никакого интереса не проявили — люд здесь был учёный, занятой; Артём и сам не стремился с ними знакомиться.

— Ничего тут не трогайте, — предупредил Осип, кивнув на всевозможные приспособления и препараты, чем, естественно, вызвал у Артёма тихое желание всё к завтрашнему дню поломать и перепутать.

В помещении было шесть комнат: три были заняты под лаборатории, две пока пустовали.

— Будем переделывать в жилые и перебираться окончательно, чтоб не тратить время на хождение туда и сюда, — сказал Осип.

Ещё здесь имелась кухня, причём там жили морские свинки, шесть штук.

— Вы их едите? — спросил Артём вполне серьёзно.

— Нет-нет, их выращивают, — ответил Осип. — Здесь не только Йодпром, но и биосад... разводят животных... Нам, кстати, сказали, что сторож будет ими заниматься. Так что, может, познакомить вас с этими созданиями?

— Потом-потом, — отказался Артём. — У меня будет много времени.

На чердаке, заметил Артём, стоял непрерывный грохот и шум.

— А там кто? — спросил Артём. — Обсерваторию строят?

— Нет, — ответил Осип. — Наверху живут крольчата. Двенадцать штук. Пойдите посмотреть?

— Позже, — сказал Артём. — Я хочу посмотреть свою комнату.

Он вдруг почувствовал, что не выспался, и заснёт сейчас невероятным сном, каким не спал уже не сосчитать сколько дней. Всегда ведь кто-то мешал или кто-то, пусть даже Осип, посапывал рядом, и мог зайти кто-то из надзора в любую минуту, поднять и обидеть, и дневальные орали, и комзвода погонял дрынком, а тут только кролики на чердаке... и эти ещё, свинки...

— Тут ничего нет, только вот покрывало... Быть может, эта фуфайка заменит вам подушку, — показывал Осип, раскрыв дверь, но Артём, даже не дожидаясь окончания его речи, обвалился на пол, отогнал фуфайку в угол, сунул её под голову, хотя пахла она невозможно: краской и, кажется, кроличьим помётом, и человечинной, — ну, и что? Артём уже спал, как убитый.

Во сне, будто не через одну дверь, а через сорок дверей он услышал невозможно далёкую и в то же время ясно слышимую человеческую речь.

— А здесь что? А это? А тут? — повторял один и тот же голос, густой и неприятный настолько, словно заговорила простуженная гусеница.

Артём понимал, что явился какой-то чин из кремля, и с ним были красноармейцы, потому что они непрерывно топотали туда и сюда, и вот-вот должны были зайти в комнатку сторожа, а сторож спит и ничем не занят, и это отличный повод немедленно его выгнать вшаей, а то и отправить в карцер, но Артём всё равно ничего не смог поделать с собой и недвижно лежал, заваленный всем своим сроком, чёрной землёй, в которой искал клады, обрывками слов и жестов Эйхманиса, жаром Галины и её истекающим, влажным запахом, шёпотным бормотанием Василия Петровича, отвисшей губой Ксивы, культей Филиппка, баланами, крестом владычки Иоанна, варёными грушами из посылки Осипа...

— А тут нет пока ничего, закрыто, — соврал где-то рядом, почти над ухом Осип, и гусеница упозла за ним, и снова стало почти тихо, только кролики что-то разыскивали на чердаке, находили, съедали и снова разыскивали, передвигаясь словно не на лапах, а на квадратных колёсах.

“Или это Эйхманис?! — вдруг кто-то зарычал внутри Артёма. — Вдруг Эйхманис? Зайдёт и спросит: “А это кто? Артё-ёём! А чего ты тут делаешь?””

Артём загнал голову в самый рукав телогрейки и как будто умер: никаких сил уже не было бояться.

— Эй, да что же с вами такое, — тормозил его Осип. — Вы будете приступать к своим обязанностям или нет? Пора уже сторожить. Пойдёмте, я согрел вам чаю. И научу, чем кормить свинок.

Артём поднялся, отчего-то совершенно пьяный, с головой, вскипячённой от неожиданного и сильного сна. Путая ноги, пошёл вслед за Осипом.

Даже не спросил, Эйхманис ли приходил или кто другой. Предпочёл решить для себя, что это было в бреду.

— Свинок буду кормить кроликами, — хрипло сказал Артём, — а кроликов — свинками.

\* \* \*

Осип был человек, помнящий о том, что порядочность и порядок — слова однокоренные.

На кухне, где в своих ящиках за нехитрой деревянной загородкой обитали морские свинки, Осип повесил листок, где переписал их имена: Рыжий, Чиганюшка, Чернявый, Желтица, Дочка и Мамашка.

“Он что думает, я с ними буду разговаривать?” — с мрачной иронией думал Артём.

Зато Осип действительно показал, где тут чайник, хоть и не согрел его, вопреки обещаниям.

Кормить морских свинок следовало овсом, брюквой и репой.

В отдельной клетке обитали ещё и белые мыши, тридцать штук. Артём поискал глазами: нет ли ещё листка, где перечислены все мыши по именам, и не дай Бог перепутать — сдохнут от обиды.

“Надеюсь, тут карцер не предусмотрен за каждого погибшего мыша, — раздумывал Артём всё в той же тональности. — А то я попрошу перевести меня на баланы”.

“А что — баланы? — ответил он себе чуть серьёзнее. — Я сейчас бы смог”.

Не отдавая себе в том отчёта, он говорил с Василием Петровичем, оспаривая его вчерашние слова.

Артём ничего уже не помнил толком — ни сжирающего людей комарья, ни матерных потешек Кучеравы, ни зверского труда, ни ощущения скользкого и неподъёмного дерева на плече.

“Только найти бы с чем чаю попить. Вот морковка. Это, наверное, кроликам предназначается. Кролики сегодня останутся без морковки”.

Горячий черничный чай с морковкой, в пустом доме посреди леса, в нескольких километрах от Информационно-следственного отдела, охраны и надзора.

“Нет, как бы всё-таки сделать так, чтобы обо мне забыли...” — в который раз мечтал Артём, поглядывая теперь уже на репу.

В ответ на его мысли в окно постучали.

Оказалось, что это может напугать взрослого, сильного, молодого человека.

Артём почувствовал, что ноги у него подкосились, хоть он и сидел на стуле.

“Кто это? — запрыгали, как блохи, мысли в голове. — Ко мне? Я сторож — как я должен сторожить? Умереть, а морских свинок спасти? Может, вообще не отзываться? Кому тут нужно ходить вечерами? Или Осип чего забыл?.. Или святой Филипп пришёл меня проведать? “Кто пил из моего колодца?””...

Снова постучали.

Артём поставил кружку, взял со стола нож и пошёл к дверям.

— Кто там? — спросил он громко.

— Открывай, — очень спокойно ответил женский голос. Это была Галина.

— Ну, быстрее, — глухо сказала она. — Не могу разобраться с ключом. Артём поспешно открыл.

Галя была одна и легко, без шороха, юркнула в помещение, будто какой-то неучтённый зверёк этого биосада.

— Ждала, пока уйдут, — потирая накусанные комарами щёки, говорила она, безошибочно двигаясь в сторону кухни. — Тележатся, как все учёные.

Она говорила с Артёмом, будто со старым знакомым. Он молчал, и внутри него снова всё дрожало.

“Я скоро в желе превращусь на таких нервотрясках...”

Зайдя в кухню, Галина положила руки на чайник и стояла так какое-то время, не оборачиваясь, вроде бы разглядывая зверьё, но вроде бы и не видя его.

— Знал, что приеду? — спросила.

— Знал, — ответил Артём, хотя ничего он не знал и даже думать про неё такое не решился бы.

— Тварь, — сказала она довольно, обернулась и поцеловала его в губы.

\* \* \*

Она уехала, кажется, через час... или чуть позже — Артём толком не помнил.

Сначала, одевшись в темноте, твёрдым голосом велела, чуть-чуть насмешливо и требовательно, как подросток:

— Теперь разговаривай со мной. Я хочу, чтоб ты говорил.

Артём сморгнул и замешкался, будто не знал больше ни одного слова.

Десять минут назад, за шаг до почти уже неизбежной потери сознания, он прошептал передавленным от пронзительного восхищения голосом: “Галя...” — и чуть укусил её за плечо.

Теперь он ни за что не решился бы само имя это произнести, да и кто он такой, как он может сметь?..

— Нет, сначала нужно тебя покормить, — сказала она, не дождавшись от него ни слова. — Где ты бросил мою сумку — при мне сумка была?

— Я не видел, — тихо сказал Артём.

— “Не видел...” Ищи теперь, — ответила она.

Сумка лежала прямо при входе. В сумке были мясные консервы и, Боже ты мой, апельсины, четыре штуки.

— Я один съем, — сказала она, очищая апельсин. — А ты — вот эти. Ел такое?

— Откуда это? — спросил Артём, не трогая жёлтые удивительные фрукты.

— Прикатились, — ответила Галина серьёзно.

Они были на кухне, Галя присела на стул, Артём стоял.

Недлинные, чуть ниже плеч, волосы она распустила и, когда разговаривала, иногда дула на падающие пряди или поправляла их рукой, быстро поглядывая на Артёма.

— Урчат, как голуби, — сказала она, кивнув на морских свинок, и тут же протянула Артёму апельсин: — Ешь. Умеешь?

Артём взял апельсин.

Он стоял босой — не надевать же ему было болотные сапоги!

Тем более что в Йодпроме топили, видимо, учёные нуждались в тепле для работы.

— У тебя что, нет другой обуви? — спросила она скорей заботливо, чем издевательски. — Почему ты в болотных сапогах всё время?.. И ты их так долго снимаешь.

Артём пожал плечами. Потом тихо сказал:

— Нет.

Она ещё раз посмотрела на него, чуть дольше, чем обычно, и сказала:

— Ладно, я поеду. Сторожи.

Артём тронулся было за ней, к выходу, но Галя остановила:

— Сиди тут, пока я не уеду. Не надо... провозжать. Потом закроешься.

Хлопнула дверь.

Он не выключал свет и долго сидел на кухне.

Морские свинки заснули.

Артём съел один апельсин; он был вкусный, но во рту, не менее сильный, чем апельсин, был вкус этой женщины — её кожи и пота.

У него не было ни радости, ни удивления, и не думать ни о чём получалось очень просто: если он ступал в себя, пытаясь найти хоть какое-то чувство, какую-то мысль, то ходил по себе, как по пустому дому, заглядывая в каждую комнату и ничего не находя, кроме тихого сквозняка.

Это был не плохой сквозняк и не страшная пустота, как будто хозяин तो ли переехал куда-то, то ли съехал оттуда навсегда. Но вот куда?

Ненадолго задремал под утро. Сон был такой, словно он всю ночь при страшном гомоне и мерцающих огнях делал какую-то удивительную и редкую работу, требовавшую не только сил, но и выносливости, и яростной радости... моряк в тропиках? Что-то такое. Во сне весь этот тропический гомон и всполохи огня, и птичий перещёлк непрерывно длились, кружились, взмывали в небеса.

Проснулся он от голосов учёных. Дверь-то он не закрыл за ней, тоже мне — сторож!

— Апельсины! — удивлялся кто-то. — Сторож питается апельсинами!

Артём поскорее вышел из своей каморки. Осип как раз, видимо, направлялся к нему: столкнулись лоб в лоб.

— Товарищи спрашивают, можно ли воспользоваться апельсиновыми корками, — мы будем добавлять их в чай при заваривании. Догадываюсь, что это... своеобразно.

— Конечно, — сказал Артём негромко, сам вспоминая, не осталось ли случаем ещё чего-нибудь.

К утру тепло в Йодпроме спало, было зябко, чуть болела голова.

— Откуда они у вас? — спросил Осип.

— Прикатились, — вернувшимся эхом повторил Артём.

Через пять минут он пошёл отсыпаться в свою келью.

По дороге в монастырь стало чуть лучше — задувал ветерок, вынося из головы кутерьму короткого сна, навевая, казалось бы, невозможную и, тем не менее, вполне ощутимую беззаботность.

Деревья стояли задумчивые: лето ведь на осень повернуло.

“Осень — хорошо”, — подумал Артём.

Мысль о Галине была сладкая, горькая, кислая — как щавель: тихо сводило челюсти.

“Галя... тоже хорошо”, — осторожно подумал Артём, внимательно следя, как отзовется его сознание на эти внутренне проговариваемые слова.

Сознание пульсировало.

“Тыклады должен был копать. А когда вернётся Эйхманис, тебя самого закопают, — почти уже весело думал Артём. — И никто искать не будет... А мама?”

Его несколько не печалили все эти мысли — только по той причине, что в этом лесу, в одиночестве, поверить в них было крайне сложно.

Он вдруг сообразил, что так и несёт в руке один апельсин, который забрал с кухни.

Начал счищать кожуру прямо зубами, попробовал было и её сжевать тоже, но нет — невкусно, горько. Зато апельсин — да, чудесный, спасибо, Галя.

От её имени, второй раз за утро мысленно повторённого, у него закружилась в голове, возникло желание крикнуть...

“Надо же, впереди тюрьма, и там действительно — Василий Петрович прав! — убивают людей... А тут тишина, иду один — свободен. Каково? Может, пойти ещё куда-нибудь?”

В лесу послышался шум.

Потом на дорогу вышли два красноармейца. Они закурили, встав возле большого чёрного валуна, время от времени поглядывая на Артёма.

Когда он проходил мимо, красноармейцы уже забыли про него и о чём-то разговаривали, цедя злые, тяжёлые и горькие, как махорка, слова.

Неподалёку раздавался стук топоров и жуткий мат. Вроде бы кого-то били.

Артём прибавил хода.

На входе в монастырские ворота встретил Кучераву, тот вылутился — впрочем, мельком, — на Артёма: похоже, не узнал.

Артём даже потрогал своё лицо, погладил себя по бритой башке: может, что-то такое изменилось в нём, что он стал совсем иным.

По монастырскому двору ходили люди, но он не хотел с кем-либо столкнуться, и смотрел в булыжную тропку свою, и торопился.

В роте было пусто: все на работах — один Артём...

Он упал на свою лежанку лицом вниз, по-прежнему оглушённый всем с ним происходящим, и улыбался в материнскую подушку, никому на свете не видимый.

Через две минуты, а может, и через одну даже открылась дверь, он быстро оглянулся.

— Что, не закрывается? — спросила она. — Ну, да, нельзя же вам. Давай твои сапоги сюда положим...

Она быстро своими ножками сдвинула болотные сапоги к дверям и, на ходу с усилием снимая юбку, вернулась к лежанке Артёма.

Встала возле неё, одним коленом упираясь в край; на Гале остались коричневые сапоги на каблучках, с посеребрёнными застёжками.

Всё это было ужасно соблазнительно, до спазма в груди.

— Только быстро, — сказала она строго. — Ты умеешь быстро?

— Я не знаю, — ответил Артём, глядя на неё снизу вверх.

\* \* \*

Прерывисто дыша и расширяя глаза, больно вцепившись ему в затылок, она вдруг назвала его “Тёмка” — одними губами, куда-то в висок, — но он услышал, как его имя толкнулось с её дыханием о его кожу...

Получилось так, словно бы, сказав ей, неожиданно для самого себя, “Галя” вчера ночью, он назвал первую часть пароля, а сейчас она произнесла отзыв.

Они назвали друг друга по именам — и только после этого немного научились говорить. По крайней мере, Артём.

Она стояла у дверей, глядя на него пьяными глазами.

— У тебя вода есть? — спросила.

— Нет... Вот в кувшине.

— Подай.

Артём подал.

— Бр-р, — смешно скривилась она и отдала кувшин обратно.

— Они иногда делают обход, — сказал Артём, кивнув на дверь.

— Ну, и что? — спросила она. — Вот я сделала обход, проверила... — и тихо, очень красиво засмеялась.

Оказывается, Артём никогда не слышал, как она смеётся. Он тихо улыбнулся, пытаясь своими грубыми неловкими губами повторить линию её губ.

— Ты за меня переживаешь или за себя? — спросила она, сразу став строгой.

— За тебя, — твёрдо ответил он, выбрав “ты” между “ты” и “вы”.

— А за себя?

Артём пожал плечами, не сводя с неё взгляда и получая пронзительное удовольствие от того, что мог смотреть ей в глаза.

— Ты можешь подумать, что он со мной сделает? — сказал он, улыбаясь, хотя улыбка была скорей выжидающей.

— Он тебя убьёт, — ответила Галя; в голосе её было что-то детское: так ребёнок говорит, что сейчас придёт папá и всех накажет.

Артём кивнул.

Галя вышла.

— Здра! — кто-то гаркнул тут же в коридоре.

Артёма едва не подбросило от этого крика.

С минуту он сидел, не шевелясь, потом, когда её строгие каблуки стихли, опять лёг.

Он лежал с бешеным сердцебиением, рот был сухой, глаза сухие, и в голове — словно сухой сквозняк просвистел.

“А если меня действительно расстреляют из-за неё? — думал он. — А за что? — Как за что? Сожительство с заключёнными из женбарака карается карцером, а тут... — А что тут? Про сотрудниц ИСО ничего нигде не сказано... — Ага, самому не смешно? Идиот!”

О начлагеря Артём старался не вспоминать. Сама фамилия “Эйхманис” звучала так, как взмах ножниц, которыми отрезают голову.

Прележав ещё минуту, он почувствовал, что покрылся потом — мелким, будто лихорадочным.

“Нет-нет-нет, — успокоил он себя, — всё будет иначе: ей не захочется, чтоб я тут был, и она оформит мне амнистию — скотит срок вдвое или даже втрое... И я поеду домой”.

Потом он опять думал о ней: “С ума она сошла? Совсем она, что ли, сошла с ума?”

Всплыло слово “фантасмагория” — недавно его кто-то произносил...

А кто? Василий Петрович, вот кто.

Артём вскинулся: ведь Василий Петрович вчера приносил ягоды, а он их не доел. Где же они? Или доел? Или всё-таки оставил в келье?

На общем столике, ближе к лежанке Осипа валялся пустой кулёк: вот кто их доел.

“Ах, так”, — сказал Артём, благополучно забыв, что сам ещё вчера лакомился из запасов Осипа салом, вишней и черешней.

Выдвинул ящик с продуктами; там остались только крупы и варёные груши, остальное Осип, наверное, унёс с собой на работу, догадался Артём.

Груш не очень хотелось — снова хотелось сала или, на худой конец, сыра, в любом случае, чего-нибудь животного, имеющего отношение к плоти, крови, молоку.

— А у меня же были деньги! — вспомнил Артём, схватил материнскую подушку, куда их спрятал, прощупал пальцами: да, на месте.

“Сейчас пойду в ларёк... Куплю себе на все... Что там есть? Колбасы бы, ох... Хватит на колбасу?”

Чтоб выйти, надо было обуться; и опять эти чёртовы сапоги...

“А если мне Эйхманис велит сдать одежду? Он же наверняка велит. Положим, сменная рубаха и штаны у меня есть. Зато из обуви — только валенки. Придётся покупать. Может, не тратиться на колбасу? А то будешь босой, как леопард, бродить... Не в валенках же... Нет, ужасно хочется колбасы... Иду за колбасой, определённо. А если Ксива? Жабра? Шафербеков? Они обещали из тебя самого сделать колбасу... К чёрту, к чёрту. Надо срочно колбасы... Кстати, паёк мне положен или нет, у кого бы спросить?”

Артём спешил вниз, в сапогах ноги едва гнулись, и, едва выйдя из корпуса на улицу, увидел Митю Щелкачова.

Охнул от радости и тут же вперил в него взгляд: что, что, какую весть он принёс?

— Слава Богу! — воскликнул Митя, очень довольный. — А то ваш дневальный меня не пускает и за вами идти тоже не желает! А я вот... вещи принёс! Нам их привезли — форму и... Вот ваш мешок, держите. Вы куда делись? Мы так и не поняли.

— Не важно, не важно, — отмахнулся Артём. — Как... Фёдор Иванович?.. Эйхманис, он как — что-то сказал обо мне?

— Эйхманис! — довольно повторил Щелкачов. — А Эйхманиса-то и не было больше! Он как тебя отправил тогда, больше не появлялся. Говорят, в Кемь уехал.

— И что же вы делали?

— А ничего не делали, — засмеялся Щелкачов. — Слушали мат Горшкова. Здесь настолько любопытно ругаются, что я решил составить словарь брани...

Приняв мешок и глядяваясь в Митю, словно у того на лице имелось подтверждение всему им только что произнесённому, Артём чувствовал себя как дитя, вставшее после новогодней ночи засветло: побежало дитя босиком к ёлке, а там деревянный конь в яблоках — огромный, в половину настоящего, целая армия солдат трёх армий, не считая партизан, три бутылки лимонада, часы с подзаводом, сабля и ещё что-то, в ёлочной мишуре закопанное, страшно ещё и туда потянуться — сердце может разорваться.

— Митя, — сдавленным голосом сказал Артём, — подожди меня минутку. Сейчас я сниму эти... сапоги, переоденусь, и пойдём в “Розмаг” — не переносимо хочу тебя угостить чем-нибудь.

— Полноте, — махнул Щелкачов рукой. — Не стоит.

— Молчи, — велел Артём и бегом помчался назад.

Как же хорошо в своих ботинках, в своей рубахе: чувствуешь себя словно защищённым своим же собственным теплом, нагретым когда-то и удивительным образом не выветрившимся.

Колбасы не было, кончилась к вечеру, так что купили в “Розмаге” брынзы. Артём сказал: “На все!” — и на обратном пути, не обращая ни на кого внимания, начали есть.

Тут же подскокили леопарды, двое, Артём отломил — не жалко, — но велел: “Больше не подходите — пинка дам”. — “А я тебе в харю плюну!” — ответил леопард, а рот его уже был полон брынзой.

Артём захохотал, толкнул Митю — смешно, мол, но тот улыбнулся в меру, ему, видимо, было не так забавно.

В дворовой соловецкой сутолоке Артёма быстро различили Мишка и Блэк. Им тоже досталось прикорма и ласки. Только чайки мешали, оголтело и неумолчно требуя своего.

Брынза была чудесная, мягкая, кислая, молочная — хоть плачь.

— Как там наши сарацины? — спрашивал Артём. Щелкачов секунду подумал и с удовольствием засмеялся, поняв, что речь идёт про Кабир-шаха и Курез-шаха.

Сзади Артёма ощутимо хлопнули по плечу.

“Блатные...” — ёкнуло у него в сердце.

А там был Борис Лукьянович.

— Артём! — они с искренним чувством обнялись. — Где вы? Как? Освободил вас начлагеря? Мне без вас немного сложно — мало кому можно довериться тут.

— Ой, да я хорошо, — улыбался Артём во всё лицо. — Хотите брынзы?.. Меня перевели на новую работу, но я спрошу, можно ли к вам, — отвечал он, хотя сам чувствовал, что привирает — от всей души, но привирает: какая, к бееу, спартакиада, когда у него такая... что?.. работа? жизнь? песнь?

Когда у него такая фантазмагория!..

— Да, да, спросите, — сказал Борис Лукьянович. — Тем более что паёк на вас все эти дни выписывали — я же не получил приказа о вашем переводе. Так что можете забрать вам причитающееся. А то что вы — брынзу! Хотя это вкусно, конечно, спасибо... Завтра получите сухпай, да?

Артём закрыл глаза, открыл, взял себя за ухо и так некоторое время шёл.

“Нет, не сплю”.

\* \* \*

— Как ты меня назвал?

— Шарлатанка.

— Какое хорошее слово. Как леденец во рту, по зубам катается... Ещё как-нибудь назови.

— Шкица.

— Это что?

— Как шкет. Только дамочка.

— Шкица... Шкица. Тоже хорошо... А что ты не стал дела иметь с проституткой? Рубль ей отдал. И не стал. Дурачок.

Артём недолго молчал, рисуя пальцем не видимый ему самому узор на стене. Они лежали в темноте в его сторожевой каморке.

“Ей рубль, а вообще три”, — вспомнил он.

— Не стал, — сказал он, помолчав.

— Какой гордец, — тихо засмеялась она. — Теперь дождался своего?

Артём на мгновение перестал рисовать на стене: а вдруг она сейчас рассердится? Вторая его ладонь лежала поверх её руки, не сжимая, не пытаясь сплестись пальцами, просто — поверх. Их руки — это единственное, чем они соприкасались сейчас.

Артём попытался через свою ладонь почувствовать: как она — злится или просто шутит? задирает его? или сама себя злит нарочно?

Он ничего не ответил на всякий случай.

— Иди тогда чай мне приготовь, — велела Галя.

Артём смахнул со стены свои не существующие на самом деле рисунки и пошёл на кухню.

Странное дело: оставляя её на минуту, он сразу же терял всякую веру в реальность происходящего и тем более — в её человеческие и, дико сказать, женские чувства.

— Осип сделал термос. Сам, — доложил он, поспешно возвращаясь, — теперь у нас всегда есть кипяток.

Уйдя всего на две минуты, он успел испугаться: а как теперь её настроение? Не разошлось ли по швам, не обернулось ли чем-то невозможным и жутким? Артём неизменно чувствовал, что вероятность этого огромна: только моргни — и тут же не узнаешь мир вокруг себя.

Своим голосом, произнося в темноту комнаты слова, Артём словно пробовал, есть ли тут жизнь, и если есть — то какая она: тёплая, млекопитающая или холодная, вздорная и пожирающая людей целиком.

Так шарят дрожащим фонариком или шипящим факелом в подземелье, всякую минуту опасаясь увидеть такое, что поседеешь навек.

— Троянский? — переспросила она из темноты.

Артём и не понял поначалу, о чём это она.

— А? Да, Осип. Троянский.

Несколько часов назад Артём, с этим самым Осипом переругавшись, перетасил в свою комнату диванчик из того помещения, где учёные собирались сделать перекурочную.

“А где мои друзья будут курить, когда похолодает?” — разозлённо и чуть в нос спрашивал Троянский. “Стоя! Стоя надо курить!” — отвечал Артём негромко, двигая диван: ему никто не помогал; учёные вообще с каждым днём воспринимали его присутствие всё недовольнее.

Воспользоваться термосом Осип тоже не предлагал Артёму, но он и не спрашивал.

В качестве столика под чай Артём, снова отлучившись, принёс тумбочку, на которой велись записи о весе морских свинок и прочие наблюдения за их насыщенной жизнью.

Когда он вернулся во второй раз, Галя сидела совсем одетая, только с распущенными волосами, трогала рукой этот самый диванчик.

— Вшей тут нет у тебя? — спросила.

— А надо? — поинтересовался Артём с улыбкой.

Она не засмеялась.

— Я там пирог с навагой принесла. Давай поедим. Я сама ничего не ела весь день. Включи свет! Только окно... прикрой чем-нибудь.

Артём сделал всё, как велели.

Присел возле столика на колени — налил ей и себе по чашке.

Тем временем она потянулась за своей сумкой.

Сумка была не совсем женская — кожаная, военная, на ремне, — только небольшая и почти новая. Зато внутри имелся вполне дамский набор: пудра, помада, духи. Артём заметил это, когда она открыла сумку и начала там, в женской манере, что-то поспешно и чуть раздражённо перебирать: да где же?

Искала, видимо, расчёску, но не нашла, зато обнаружила другое.

— Смотри, какие у меня записки, — сказала.

— Кому? — спросил Артём, дуя на чай, хотя он был не такой уж и горячий.

— А никому. Лагерники пишут. Изъяли. Слушай. “Пойду к лепкому, и ты приходи. Без тебя таю как конфетка. Остаюсь до гроба твоя верная”. А? Вот это любовь. А вот слушай ещё, — она повибирала в сумочке, там было много, непонятно зачем она их носила при себе: “Вам из весная Галя хочет с вами знакомица”. Понял? Галя! Из! Весная! — она будто бы ожидала, что он засмеётся.

— Да, — очень серьёзно ответил Артём.

Она посмотрела на него секунду и, чего-то не найдя в его лице, выдохнула:

— Ну, ладно... — и убрала записки. — А с чем чай? Травой пахнет какой-то.

— Я туда еловые веточки добавляю, — сказал Артём, напряжённо разглядывая её: что-то происходило, и это надо было остановить.

— Правда? — спросила она и наклонилась к чашке. — Интересно... Не хочу такой. Поеду.

Она вдруг поднялась, подхватила сумку — сумка раскрылась, одна записка выпала, Галя её не заметила, обошла сидящего Артёма и поспешила к выходу.

Он тоже поднялся, пошёл следом, тоскливо понимая, что вот и всё, кажется, вот и конец, и что случится потом, никто не объяснит ему, но ничего хорошего, наверное, не будет.

Сейчас она уйдёт и — прощай, фарт необычайный.

А если он попытается, скажем, поцеловать её в щёку на прощание, то случится вообще что-то ужасное.

Хотя если он не выйдет её провожать, будет совсем плохо.

В общем, выбор невеликий и печальный.

— Галя из весная, — пояснил он тихо. — Я это понял так, что сделанная из весны.

Она остановилась, держась за косяк двери, и ещё раз посмотрела на него.

В прихожей было темно, и глаз её Артём не мог рассмотреть.

Тогда он добавил наугад:

— Ты.

\* \* \*

Всё это было болезненно и невозможно, держалось на каких-то ветхих неразличимых нитях, которые — вздохнёшь — и оборвутся... но каким-то чудом продолжалось.

Он шагнул к ней, а ей некуда было деться — позади двери, впереди он.

Потом их куда-то на кухню занесло, они страшно напугали морских свинок: звери попрятались, люди уронили и чайник, и термос, всё вокруг было в кипячёной воде... пока не нашли себе места в каком-то новом углу, на старом кресле, искусили друг друга — так и помирились.

Артём не сразу пришёл в себя, рассудок ещё туманился и пропадал... Вот Артём, почти уже без рассудка, безрассудный, ощутил себя отчего-то поплавком, который вздрагивает, вздрагивает, вздрагивает и у него там, внизу, — рыба, она поймала его, или он поймал её, тут уж не поймёшь, и вот сейчас он должен эту рыбу извлечь на белый свет. Она вся сырая, золотистая, небывалая, жадная... Или его утянет на дно этот самый поплавок, и он там дохнет совсем, и это чувство неразрешимости всё длилось и длилось, и длилось, и этот, и этот, чёрт его побори, поклёв всё продолжался, круги по воде шли всё чаще, всё жёстче, и вода одновременно становилась всё гуще, как олово, в этой воде не выживают, в этой воде гибнут навсегда, да, это точно, да, да...

А потом вдруг кто-то перевернул разом всю реку, вместе с отражённым в ней солнцем или звёздами, или рыбами, и всё полетело сверху, как из корыта: солнце, рыбы, звёзды.

Руки у неё были смуглые, в пушке. А грудь и... ещё одна часть тела — ослепительно-белые, как мороженое...

— Я хочу чай твой. С ёлками, — сказала она хрипло. Накричалась. И встать пока не могла — надо было, чтоб он первый сделал это.

Он поднялся, вышел и впервые куда увереннее почувствовал, что вернётся и теперь, наконец, всё будет хорошо. Теперь уже не может быть плохо. По крайней мере, сразу.

Термос, к общей радости, не разбился.

— А пирог-то, — крикнула она из комнаты, где, судя по голосу, одевалась. — Пирог забыл. Пирог неси!

Они пили чай, и Галя сказала:

— Спрашивай меня: почему ты. Я же должна объяснить.

— Я не имею права обращаться без разрешения, — ответил Артём.

Она засмеялась: тихо и тепло.

Отсмеялась и сказала:

— Ты ударил Сорокина. Я поняла, что тебя за это посадят в карцер и скоро убьют. Ты шёл к ИСО — весь такой юный, потный, я даже запах твой почувствовала, хотя как это возможно, с третьего этажа... И у меня всё. Сжалось всё.

Артём смотрел в чашку.

— Я тебя до этого видела, но ты был не такой. Когда вы там дрались перед Эйхманисом и его гостями, — фамилию “Эйхманис” она произнесла с каким-то особенным и, как Артёму показалось, мстительным чувством... но, может, только показалось? — там тебя было не жалко. И вообще всё было противно там. Только... ну, не важно.

Артём поднял глаза и очень тихо, бережно посмотрел на неё, чтоб не сбить этот тон, этот голос... Хотя сам подумал мельком: “Ещё как важно”.

— А, нет, я же тебя до этого вызывала. Когда ты валял дурака, а в конце сказал, что умеешь целоваться. Я подумала: “Сейчас вызову Ткачука, и ему выбьют все зубы. По крайней мере, передние, и сверху, и снизу... И будешь после этого целоваться”. Наглые твои глаза зелёные... крапчатые... — она вдруг посмотрела ему в глаза, словно проверяя.

Артём неслышно сглотнул слюну и ничего не стал думать о том, что слышит. “Ну, да, ну, вот так”, — к этой фразе можно свести то, что он почувствовал и по поводу Ткачука, и по поводу глаз.

— И потом мне нужно было тебя... взять на работу, — продолжила она. — Не потому что сексотов не хватает — здесь каждый пятый сексот, — а просто... Надо было. И ещё я разозлилась. Может быть, всего больше разозлилась оттого, что ты мне стал нравиться. Мне никогда не нравился ни один... здешний. Вы все для меня были... к примеру, как волки или лошади — другая природа.

Галя немного помолчала. Артёму показалось, что она поймала себя на своей неуместной искренности, но тут же махнула рукой: чего теперь? После всего вот этого? После кресла, которое едва не развалили на семь частей?

— Если б ты не полез ко мне — ничего бы не было, — с едва заметной, словно бы внутренней, в скулах спрятанной улыбкой сказала она. — Так и пошёл бы в карцер. Но ты точно угадал, когда надо... Все лезут, когда не надо. А когда надо — наоборот, не лезут... С одними приходится смиряться, других — тормошить. И то, и другое — неприятно. Ты взял и угадал — впервые. Не веришь? — спросила она неожиданно громко.

— Почему, почему? Верю, — сказал Артём. — Можно я пирог теперь буду есть?

Она снова засмеялась, на этот раз откинув голову, и он увидел её шею: голую, незащищённую. Смех у неё был такой, словно он был всегда чуть замороженным, а сейчас оттаял. И таким оттаявшим смехом она не смеялась очень давно. Весь день. Или месяц. Или всё лето. Всё время было не смешно ей, а тут вдруг стало смешно.

— Ешь, ешь, — сказала. — Я тоже хочу. Ты зверей покормил сегодня?  
— Да, — сказал он, и сам не мог вспомнить, врёт или нет. — А зачем они здесь?

— Как зачем? — она ела пирог и запивала чаем, и стала совсем домашней и беззаботной. — Тут же биосад.

— Я знаю. А что это?

Галя закрутила головой — в том смысле, что смеяться уже устала, да и чай с пирогом мешают... но всё равно смешно.

— “Знаю. Что это?” — необходимо передразнила она Артёма. — Это Фёдор приказал. Эйхманис.

Странным образом теперь в его фамилию она вложила безусловно уважительное чувство.

— В мае... когда? Прошлый год или уже позапрошлый... очень давно. Всю северо-восточную часть острова объявили заповедником. Озёра, болота, лес, который нельзя вырубать, — всё вокруг вошло в заповедник.

— Зачем?

— Затем, что леса много порубили, и звери стали пропадать, а не хочется, чтоб остров был лысым и безжизненным. Фёдор заложил питомник лиственниц... потом ещё каких-то деревьев. И вот биосад появился. Фёдору надо оленей вырастить, этих ещё... морских свинок... ондатру хочет развести, чтоб прижилась; её к вам в озеро запустили — видел тут озеро рядом?... И тех, кто здесь был, и тех, кого не было никогда, — всё зверьё ему откуда-то привозят... — она снова крутанула головой: то ли волосы смахнула, то ли какую-то мысль, то ли всё это ей казалось забавным и ненужным, хотя не поймёшь, может, и наоборот: очень серьёзным и нужным.

— Тут сначала, когда лагерь организовали, шла охота с утра до вечера. Ногтев любил... Это начальник лагеря был до Фёдора, знаешь? А потом Фёдор запретил охоту... Он и чаек запретил истреблять, а я их сама перебила бы, голова раскалывается к вечеру, окно не открыть... Хотя сам Фёдор охотится иногда. Но только на тех зверей, которых много... Не то, что Ногтев. Тот вообще так и стрелял бы с утра до вечера.

— Вот политических расстреляли, мне говорили, когда Ногтев был... — сказал Артём, кусая пирог: он вообще что-то разнежился и обмяк.

Галя, напротив, перестала жевать и спросила тем, другим своим голосом, про который Артём скоропостижно забыл:

— Кто сказал?

Артём, полудележавший, сел, дожевал пирог и только после этого ответил очень спокойно и как мог доброжелательно:

— Здесь все про это знают. Ни для кого не секрет.

Галя вздохнула.

“А о чём мне с тобой разговаривать? — быстро подумал Артём. — Я ничего не знаю, кроме лагеря. И, кажется, ты, Галя, тоже ничего не знаешь, кроме лагеря. Может, лучше будет, если ты спросишь меня, за что я отца убил? Или мне поинтересоваться, почему ты работаешь на Соловках, а не гуляешь по Красной площади под ручку с кем-нибудь во френче и в галифе?..”

Она задумчиво покусала нижнюю губу.

— В общем, слушай, — сказала. — Если тут про это все говорят, надо, чтоб кто-то знал, как было на самом деле... К ним было особое отношение — потому что это не уголовники и не каэры. Это да, революционные деятели, не понявшие большевистской правоты и в этом упорствующие... Но никому не надо было их расстреливать. Они сами этого добивались целый год. От Фёдора бы не добились. А от Ногтева добились. И то пришлось постараться. Они жили в Савватьево. Ни работ, ни охраны, полное самоуправление. Они там лекции читали друг другу, на фракции разбились... Межфракционная борьба, — Галя весьма едко усмехнулась, — ругались, мирились, чего только не было. Прогулки — круглые сутки, и днём, и ночью. Электричество там не гасло до утра. Семь часов свиданий в неделю! С Ногтевым не общались, орали на него: “Пошёл вон, палач!” — и он уходил. Фёдор тогда был его заместителем, он приходил вместо Ногтева, но с ним общались только старосты, остальные тоже... выказывали презрение... Единственные, кого политические

видели, — солдаты на вышках. Но солдатам Фёдор запретил общаться с политическими. Так они сами приходили к вышкам — поначалу редко, потом стали ежедневно, а потом и несколько раз на дню. Чего только не кричали, повторяя неприятно... Иначе как “бараны” к солдатам не обращались. А потом — тебе самому не дико? Здесь люди работают, и даже гибнут иногда, едят одну треску, — по крайней мере, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая роты живут тяжело, я же знаю... А у этих диспуты — да и какие диспуты! — всё пустое, всё ссоры из-за каких-то закорючек... Тут вся земля вверх дном, а они...

Галя, похоже, снова успокоилась, и даже откусила пирога, и запила чаем, и, словно кстати, вспомнила:

— Ты знаешь, что у них паёк был выше красноармейского? Они ели лучше, чем те, кто их охраняет! Так им ещё и посылки слали, а красноармейцам — нет! Знаешь, сколько им посылок приходило: шесть тысяч пудов в год! И хоть бы один сухарь оттуда своровали! Никогда. Зато у красноармейцев не было цинги, а политические умудрились заболеть. Сказать, отчего? Оттого, что они валялись целыми днями, закисая от безделья... Знаешь, какие у них требования были? Чтоб каждую партию заключённых проверяли их старосты и решали, кто политический, а кто нет. Нет, ты подумай! Они что думают, во Франции или где там — в Финляндии — им такое позволили бы?... Старосты хамили Фёдору. Кричали, что мы доставим и предоставим всё, что им нужно, и даже втрое. Открыто хаяли советскую власть.

Галя допила чай и достала оттуда ёлочную веточку.

Кажется, она начала всё это рассказывать только потому, что ко всей этой истории имел отношение Эйхманис.

Артём, признаться, сам уже был не рад, что завёл об этом речь.

Но, с другой стороны, всё сказанное Галей было очень интересно — он смог бы теперь ответить Василию Петровичу!

И ещё вот что он заметил: саму Галю эта история волновала, и, рассказывая её, она словно бы хотела оправдать Эйхманиса — это чувствовалось.

— Потом пришло распоряжение из Москвы ограничить срок прогулок до шести часов, — продолжила она. — Фёдор распоряжение зачитал, один, без охраны зайдя к ним в скит — он всегда так ходил. А у них там, естественно, свои топоры, ножи... В распоряжении было написано: прогулки с девяти утра до шести вечера. Ведь можно нагуляться до шести вечера, если начнёте в девять утра, да? Тем более, если не работаешь? А они вот решили, что не нагуляются. Ну, и электричество в двенадцать ночи отключалось. Тоже по распоряжению Москвы... Политические отказались признавать эти требования.

Галя бросила веточку обратно в чашку: надоела.

— Окончательное решение принял Ногтев. Они же назло всё делали: им трижды объявили о необходимости разойтись. Но они нарочно ходили под фонарями. Кто-то дал команду, и началась стрельба, причём красноармейцы стреляли вверх. В толпу стреляли только трое, я знаю их всех, ногтевские сподручные: одного, Горшкова, перевели с глаз подальше на один остров тут, другого в Кемь... Остался Ткачук только. Если б все красноармейцы стреляли в толпу — перебили бы политических поголовно, это было нетрудно.

Галя подняла глаза и посмотрела на Артёма.

“Тут уже про Галю из веснуню не скажешь”, — подумал Артём, скорей весело, чем напуганно.

— А потом они, — вспомнила Галя, — устроили голодовку с требованием вывезти их на материк. Их и вывезли, пожалуйста. Только я не думаю, что там им будет лучше. Они здесь жили, как у Христа за пазухой. Всей работы — дров себе нарубить на отопление дома. И того не хотели! Себе самим заготовить дрова было ниже их достоинства. А жечь дрова, которые им другие заключённые нарубили, — нормально. Им хворост для варки пицци — и тот рубили, привозили, и они не гнушались! Оставалось только денщиков потребовать для конных прогулок по острову... Глупо это всё с их стороны, Тём.

...Раз “Тём”, то отчего б тогда совсем не расхрабриться: кажется, всё-таки можно.

— Говорят, что Ногтев несколько раз лично убивал одного или двух, сходящих с парохода, — сказал Артём, каждое слово произнося твёрдо, но будто бы вкрадчиво, словно оставляя себе возможность забрать любое из них назад в случае, если они вызовут раздражение.

Галя, словно донельзя уставшая, пожала плечами:

— Как ты себе это представляешь? Знаешь, как тут называют слухи? Параша! Очень гадкое и точное слово. Выстрелил, наверное, один раз в воздух. Убивал!.. Может, и убил кого-нибудь когда-нибудь. Я не знаю, и никто этого не видел — ты не верь. Если кто видел, он в соловецкую землю зарыт... Да и где теперь Ногтев? Он нехорошо закончит, помяни моё слово.

“А ты — хорошо, Галя?” — едва не спросил Артём.  
Даже так: Галя.

\* \* \*

После вечерней поверки в лагере он шёл в Йодпром.

Куковали кукушки вслед, но он не считал, сколько раз.

Так торопился, словно Галя уже ждала его там.

Даже дороги толком не замечал — она с каждым днём становилась всё короче и короче: рукой подать, две тысячи метров, смешно, в один разбег можно взять.

Потом ужасно злился на учёных — те никак не хотели собираться и расстаться со своими свиньями.

— Несите их в лагерь, в свои кельи и спите там в обнимку со своей морской поросятиной, — вслух бубнил Артём, запершись в своей каморке: душевное возбуждение его было столь велико, что он ничем не мог заниматься.

Сухпай получил, высыпал его на пол и теперь строил башню из луковиц и консервов. Луковицы падали. Брал в руку, припихивался к ним, они тоже пахли плотью, почвой, ядрёной жизнью.

Вконец озлившись на учёных, хотел уже запустить луковицей в стену, но остановил себя: вспомнил, как неделями ныл желудок от голода, и на запах прокисшей пшёнки текла слюна...

...Да, проходил тут случайно мимо больницы — почувствовал ужасный запах, даже пошатнулся, но через мгновение вспомнил: да это ж винегрет, который он ел и млеет от удовольствия, когда лежал там. Винегрет так пахнет!..

Резко поднялся, отправился к учёным.

Троянский чуть ли не на цыпочках выходил из кухни, прижав палец к губам:

— Тс-с! Они очень пугливые.

Артём хмыкнул.

Троянский сунул ему в руки листок — всё тот же, с именами свиннок, чтоб Артём, наверное, всё-таки выгучил за ночь все имена наизусть или, как минимум, повторил.

— Рыжий, Чиганюшка, Чернявый, Желтица, Дочка и Мамашка, я помню, — сказал Артём.

— Нет, я там описал вкратце их приметы, вы ж не знаете, чем они отличаются, — сказал Осип. — А мы пробуем их называть исключительно по именам.

— А они вас? — спросил Артём.

Троянский не ответил — посчитал, наверное, что это плоская шутка.

В проём дверей Артём увидел, что свинки лежат на большом подоконнике, видимо, принимают солнечные ванны.

— Вы с ними побольше разговаривайте, — предложил Троянский.

— А как же, — ответил Артём. — Я им стихи читаю, пою колыбельные. Анекдоты рассказываю...

Троянский быстро посмотрел на Артёма.

— Приличные, — добавил Артём.

— Никогда не замечал у вас привычки кривляться.

Артём пожал плечами: ему было всё равно.

“Как бы дал по лбу...” — подумал он почти равнодушно.

“Ты уже Сорокину дал недавно”, — ответил он сам себе.

Учёные еле-еле ушли, с Артёмом традиционно не прощаясь. Он подождал ещё минуту: может, кто-то остался? Увлёкся производством мармелада из водорослей.

Нет, тишина.

— А свиньи-то что? — всполошился Артём. — Так и лежат на подоконнике? А как замёрзнут? Обвинят в халатности.

Он поспешил на кухню, с размаху раскрыв дверь, перепуганные свинки, хоть и были на полу, но загромождённо бросились друг к другу — напугались.

Им хотелось сбиться в одну кучу-малу, однако верхние совсем не хотели быть наверху и норовили забраться в самый низ, из-за чего у свинок ничего не получалось.

— А-а-а! — загомосил донельзя довольный Артём. — Страа-ашно!

Некоторое время он любовался на животную кутерьму и суету, потом тихо прикрыл дверь.

Подождал с минуту, пока там всё притихнет, потом заново всё повторил, получая от этого совершенно упоительное мальчишеское удовольствие.

— А чего спи-и-им! — закричал он, рванув на себя дверь: зверьё напугалось ещё пуще, куча-мала, как и в прошлый раз, не удавалась, страх был неумный, искренний, подвижный.

“Так и срок можно скоротать! — ликовал Артём, хохоча вслух. — Как бы только они не передохли от разрыва сердца все...”

Здесь он сам едва не получил удар, потому что наверху раздался визг и жуткое грохотанье.

— Лося, что ли, они завели и на чердак затащили! — выругался Артём, бросившись на шум.

Выбегая, успел заметить, что свинки в третий уже раз кинулись в одну кучу, всё с тем же, уже теряющим очарование глупым желанием каждой порсятину оказаться ниже всех.

На чердаке было ещё хуже: картина преступления проявилась немедленно.

Крупный рыжий кот сидел в кроличьем вольере и держал в зубах довольно большого крольчонка.

Тот был явно уже не жилец, едва пузырился тихой кроличьей кровью и предсмертно дрожал.

У кота были совершенно злодейские глаза.

Глаза эти яростно смотрели на Артёма.

В глазах, казалось, осмысленно живут две проникновенные мысли. Первая: “А ты ещё кто такой?”, — вторая: “Ох, не успею ни съесть, ни спрятать!”

— Да едрит твою мать! — в сердцах выругался Артём: так его дед ругался, московский купец третьей гильдии.

Кот сморгнул, но кролика не выпустил, а перехватил покрепче.

Теперь Артёму показалось, что кот согласен на переговоры, примерно такого толка: “Давай съедим напополам, раз так, чего орать-то...”

Остальные кролики в кромешном ужасе вжались в разные углы вольера, иные даже зажмурились. Кролики были чёрного и серого окраса.

— Я сейчас убью тебя, — уверенно пообещал Артём коту, озираясь в поиске того, чем это можно сделать.

Обнаружился железный совок, которым стребали кроличий помёт.

Завидев в руках человека совок, кот вмиг оставил тихую свою добычу — Артём было подумал, что эта хищная тварь бросится прямо на него, и даже успел слегка напугаться, — но коту был просто нужен чердачный лаз за спиной Артёма, который оставался открытым.

Скрежеща когтями и по-бойцовски взревев, кот рванул мимо Артёма; вслед ему полетел совок, но разве тут попадёшь!

Артём бросился к бездыханному кролику, схватил его за шиворот и так и побежал за котом.

Торопиться, впрочем, было некуда: кот пропал.

— Куда ж ты делся? — громко спрашивал Артём, весь позеленевший от натуральной злобы. — И откуда ты взялся? Я ж тебя не видел ни разу! Иди, кролика доедай своего, что бросил-то. Иди, гад!

Трижды обошёл весь Йодпром — без результата. Все двери и окна были закрыты, чёрт знает, куда спряталась эта сволочь. Сдвинул диван, заглянул под все столы, тумбы и кресла, ещё раз побеспокоил морских свинок — тишина.

...Бездумно мерил шагами коридор, обращаясь куда-то в потолок на манер героя древнегреческой трагедии:

— И что я теперь буду делать? Как я объясню смерть моего подопечно-го животного? Ответь!

“Может, в лесу добыть зайца? Силки поставить и поймать? — всерьёз задумался Артём. — Кто у нас охотник? Василий Петрович вроде охотился. Может, он расскажет, как делают силки?.. Да нет, какой он, к чёрту, охотник, он же говорил, что никого убить не смог ни разу...”

“Или Бурцева попрошу? “Брат Бурцев, забудем прошлое! Поймай мне зайца! Век не забуду!” Должны тут длинноухие водиться ведь! Никто и не отличит. Пусть Осип придумает теорию, как в неволе домашние кролики постепенно превращаются в диких зайцев...”

— Или снять с кролика шкуру и натянуть на кота? — вслух предположил Артём. — Слышишь, гад? Натяну на тебя шкуру, будешь с длинными ушами ходить, подонок...

Вернулся ни с чем на кухню, открыл термос, плеснул себе чайку. Решил, что хоть свинок надо покормить — они были ужасно прожорливы.

Предложил им моркови и капусты — те не отказались.

— Что ж вы столько жрёте, сволочи? — спросил Артём, удивляясь.

Наверху вновь ожил кроличий питомник: уселись на свои велосипеды с квадратными колёсами и поехали туда-сюда то по кругу, то наискосок.

“О, — подумал Артём. — Одного сожрали, они три минуты побоялись и снова давай разыскивать, что тут можно погрызть... Всё как у нас на Соловках, никакой разницы”.

Кота Артём мысленно прозвал “Чекист”. Вылитый ведь.

— Кыс-кыс-кыс! — позвал Артём: может, отзовется на ласку.

“Убью хоть одного чекиста”, — сказал он себе.

Как же, так он и прибежит!

Чекисты в ласке не нуждаются.

Только чекистки... иногда.

Гали всё не было.

Кролик — чёрт бы с ним. С каждой минутой Артём всё явственней тосковал по Гале.

Старался отвлечься, вспоминал о чём ни попадя, но чувство к женщине находило, как проявиться. То вдруг в руках, в ладонях возникало навязчивое, как зуд, ощущение её тела — лопатки, шея, другого всякого, — и тогда Артём прятал руки в карманы, сжимал их в кулаки, чтоб зуд пропал. Тогда на губах чувствовался её вкус, её сладкий пот, мурашки на её шее, и Артём кусал свои губы и облизывался, как тот самый кот.

“Сгинь, Галя! — просил. — А то начну выть тут... Все звери передохнут от ужаса...”

Галя не покидала его.

Незаметно вновь подкрадывались мысли, тёплые и навязчивые.

“Почему, если проститутка в тот раз велела мне “быстро”, — это мерзость? — спрашивал себя Артём. — А если Галя... — он перехватывал воздуха, чтоб додумать, — если она спросила: “Ты можешь быстро?” — от этого заходится сердце? Почему? Ведь одно и то же?”

Он ловил себя на том, что он опять о Гале, о Гале, о Гале, и спешил далеко прочь, куда-нибудь на волю, в Москву, в Зарядье, в любой трактир с тарелками гороха на столах или в кинотеатр...

Представил вдруг так чётко и явственно, как сидит в кинотеатре, пронёс с собою бутылку пива, и на экране женщины (естественно, похожие на Галю) заламывают руки и раскрывают огромные чёрно-белые глаза, и беззвучно кричат...

...Вышел из кинотеатра, вознамерившись погулять. “Куда, куда, куда хочу идти? — скороговоркой спрашивал он себя. — Вот, к примеру, на Пречистенку — просто пошляться, там жил один дружок... Встречу его, он спросит: “Где был? Давно не видел, Тёма, тебя! — А на Соловках... Разве не знал?” — ответит Артём будто нехотя.

Про Соловки уже все знали года с 23-го. Сказать, что был на Соловках, — это красиво, в этом есть жуть и мрачное мужское достоинство.

Хотя... дружок начнёт спрашивать, за что посадили, — лучше не надо этого разговора.

“Тогда иначе, — мечтал Артём, — познакомлюсь с девушкой... Юной, в юбке, с колечком на мизинце. “Как ты жил?” — спросит она, глядя его отросшие уже волосы... — Многие было... Соловки были... Не спрашивай лучше...” — так Артём отвечал бы уставшим голосом, полузакрыв глаза.

Он поймал себя на том, что и сам сейчас лежит, глаза полузакрыв, и весь разнеженный, как будто ледяного пива попил на жаре.

Сел, засмеялся вслух над собой.

Встряхнул себя вопросом:

— А как же Галя? Какая ещё девушка с колечком, когда есть Галя? Может, вернёмся с ней, начнём вместе жить? А что? Родим детей. Они вырастут. “Папа и мама, — спросят однажды, — вы где познакомились? — А в тюрьме. Папа убил вашего дедушку и сел в тюрьму. А мама хотела посадить папу в карцер и тоже убить. Но потом раздумала и, вызвав его в свой кабинет, сказала “...Да где ж там у тебя?..” Как вам, дети, такая история?”

Артём снова засмеялся.

В дверь стучали. Это было совсем весело и очень многообещающе.

“Открывай, сирота, — велел он себе, — без креста и без хвоста!”

\* \* \*

Артём заметил, что про Эйхманиса она могла говорить в любую минуту и с любого места, едва разговор его касался, но даже если и не касался — тоже.

Он мог выглянуть из-за всякого события, словно мир был полон его отражениями и отчётливыми следами.

— ...Он забыл про тебя уже, — говорила Галя, глядя в потолок, вроде бы успокаивая Артёма, но на самом деле в её словах слышалось некоторое пренебрежение: кто ты такой, чтоб тебя Фёдор помнил. — Для него не имеет значения: заключённый, нет. Не потому, что он вас считает за людей, — он никого не считает за людей. Поэтому он иногда кажется человечным — потому что ему всё равно. Здесь одни лагерники работают везде, он с ними и общается, а с кем же ещё ему общаться? Ты думаешь, ты один такой? Ой, тебя Эйхманис позвал к себе! Наверняка ведь так думал? Да ему просто скучно с этими красноармейскими скотами, а большинство из них — скоты! Если завтра всех красноармейцев посадили бы, а его бы назначили их перевоспитывать, в нём бы ничего не дрогнуло. Почему? Потому что Эйхманис куда больший скот, чем все вы, вместе взятые...

“По-моему, ты просто любишь его”, — подумал Артём, но смолчал: а какое ему дело!

— Если по правде, он ни с кем не хочет разговаривать, ему плевать, — цедила свою трудную и болезненную речь Галя. — Но он видел, как Троцкий вёл себя с людьми, и хочет быть похожим на него. Он работал с ним... Мы там и встретились впервые... — эту тему она тут же расхотела продолжать и разом подвела итог: — Но если ему понадобится тебя расстрелять, он даже глазом не моргнёт. Фёдор убил сотни людей.

Они сегодня ничего не делали друг с другом: Галя пришла какая-то необычная, не стала его целовать, и Артём, естественно, не решился к ней подступиться.

Легла на диван — сразу было видно, что устала, — а когда пошла речь про красноармейских скотов и про Троцкого, Артёма как озарило: она же пьяная.

Галя почувствовала, что он догадался.

— Водку будешь? — спросила.

Артём промолчал, глядя на Галину, — она и не ждала ответа. Всякий раз, уже запомнил он, в её сумке что-то было — без подарков Галя не приходила.

— Откуда такая водка? — удивился он, увидев извлечённую бутылку с разноцветной наклейкой: со времён нэпа он не видел ничего подобного, а потом ведь ещё был сухой закон, всё самое вкусное давно допили.

Галя насмешливо посмотрела на Артёма и ответила:

— Хорошая водка всегда в наличии для оперативно-следственных мероприятий.

Артём кивнул, хотя ничего не понял.

— На расстрелы... — пояснила она через минуту, так и не найдя стакана, который высматривала по комнате, поворачиваясь всей головой, как птицы смотрят.

Он сходил за кружкой.

Когда вернулся, Галя уже сидела на диване, чуть раскачиваясь.

— После расстрелов хочется выпить, — пояснила она, наливая, — это сложная мужская работа.

Артём втянул воздух носом, чувствуя отвратительный запах водки.

— И что теперь? — невятно спросил он, хотя она догадалась всё равно, про что вопрос.

— Насухую расстреляют. Водой запьют, — ответила Галина и неровным движением сунула ему кружку в руки, водка качнулась и лизнула руку. Ощущение было — как лёгкий ожог. Хотелось подуть туда.

Он выпил залпом.

Будто камень проглотил.

Он застрял где-то посреди грудной клетки.

— Эйхманис сегодня так хохотал, — вдруг вспомнила она, начав с какого-то места, на котором сама загнулась. — В административном отделе одна белогвардейская сволочь собралась, по его же собственному выбору. Теперь они назначают старших на разные участки работы. И знаешь, что придумали? Они должность дают по фамилии. Не понял? Ну, смотри. Счетовод — естественно, Серебренников. Из белогвардейцев. Зоологическая станция — Зверобоев. На электрофикации — Подтоков. Астрономическую обсерваторию затеяли — Медведицына поставили, а он только в бинокль умеет смотреть, — здесь Галя засмеялась, видно, что-то вспомнив. — Догадался, почему Медведицын? Я сама не сразу догадалась! Большая Медведица, созвездие. Эйх сразу раскусил — ему смешно!..

“Значит, “Эйх”?” — отметил про себя Артём.

— Есть ещё Дендрологический питомник! — вспомнила Галина. — Там работает Владимир Дендярев... То ещё жульё. Но, в отличие от Зверобоева с Медведицыным, хотя бы знает свою работу. И чувствует, что его ценят. Обнаглел до такой степени, что потребовал себе гужевой транспорт! Так Фёдор велел предоставить ему козла! Дендярев не отказался, и теперь ведёт козла до Никольских ворот, потом садится на него верхом и въезжает в монастырь. Дальше спешивается и передаёт поводья красноармейцу, а тот призывает козла возле поста!..

Галя снова засмеялась, хотя смех её был злой и звучал так, словно она его, как водку, неопытно расплёскивала из себя.

Артёму отчего-то было совсем не смешно. Какая-то несмешная водка в горло попала, наверное.

— Он тут распустил всех, — говорила Галя со всё большим раздражением. — Этому козла — ладно. Селецкий, который руководит лесозаготовками, — бывший начальник царской тюрьмы, — сказал, что ему нужен револьвер. И заключённому выдали револьвер! Фёдор велел! Бурцев, которого перевели в ИСО из твоей роты, тоже захотел револьвер — и ему пожалуй-

ста! Осип твой потребовал мать — ему привезут. Ему без мамы неприятно сидеть в тюрьме! Ещё потребовал командировку на материк — его отправят скоро, без конвоя!.. Граков тут рассказывал... — начала она какую-то новую историю. Артём чуть дрогнул веком, но вида не подал; она осеклась, и тут же продолжила о другом: — Все спеццы из заключённых, что управляют заводами — кирпичным и прочими, — живут с женщинами: Фёдор разрешил гражданские браки. И ты думаешь, кто-нибудь ценит это, рассказывает на воле? “Я сидел на Соловках, мне дали временную жену, возможность гулять по острову, платили зарплату, которой мне хватало на то, чтоб покупать в ларьке лучшие папиросы, сладости к чаю и кормить собаку и кота, которые скрашивали мою жизнь в лагере”? Нет, никто про это не говорит! У всех настоящие жёны дома! Но все всё равно обижены! Все, уверена, расписывают свои крестные муки, вся страна уже знает про Соловки, детей Соловками пугают! Зато местные чекисты на Фёдора каждую неделю пишут доносы... И если б не его отношения с Глебом — Глеб Бокий, знаешь?.. — Фёдора бы самого сюда давно посадили.

Галя снова начала, по-птичьи поворачивая голову, что-то себе искать, и Артём догадался, что теперь и ей самой нужна посуда.

Снова сходил на кухню, вернулся с морковью, хлебом и двумя кружками: одна — с чаем, другая — пустая. Когда подходил к своей сторожевой комнатке, с удивлением услышал, что Галя продолжала разговаривать, словно и не заметила его отсутствия.

— Потому что вы все люди, а он — полубог, — заключила она и подняла пустые и чёрные глаза на Артёма.

— Бога же отменили, — сказал Артём, бережно раскладывая снедь и тихо расставляя кружки.

— Богов и не было никогда. Были только полубоги, — сказала Галя, выкладывая каждое слово отдельно и с паузой, чтоб они не слиплись в её захмелевшей гортани.

“Из двух полубогов, — отстранённо подумал Артём, — можно сделать одного бога. Ленин и Троцкий — раз, и готово... Хотя Троцкий, кажется, уже вырван из иконостаса — как зуб изо рта”.

Ему было тревожно.

“Лучше бы она ушла”, — думал он, глядя на Галю.

Галя налила водки и тут же опрокинула её в себя.

Артём подумал, что сейчас закашляется, но нет, она её проглотила и посидела с полминуты, закрыв глаза, без движения.

Он тоже не шевелился.

Потом выдохнула и только после этого будто бы проснулась.

Тихо, с трудом, раскрыла глаза, а тут Артём, Тёмка!

Галя улыбнулась.

Улыбка тоже была чужая и опасная.

— Правда, что в ротах молодых мальчиков пользуют? — вкрадчиво спросила Галя.

— Не знаю. Не видел, — сказал Артём, глядя на неё, только не в глаза смотрел, а в губы, которые странно потеряли свою форму и всё время неприятно кривились, словно зубы во рту нагрелись и обжигались.

— Правда, — сказала Галя уверенным шёпотом. — Используй меня. Я твой... как ты говорил? Шкет! Давай, как будто я здесь лежу на нарах... напуганный.

— Не надо, — попросил Артём очень тихо. — Мне не нравится. Ты не видела, как там. Не играй в это. Пожалуйста.

Ей было всё равно: губы её продолжали кривляться.

— Тогда я тебя использую, — сказала она.

Медленно сползла с дивана, со скрежетом отодвинула мешавший на пути к Артёму табурет — хлеб упал, морковь скатилась, кружки запрыгали, звеня боками...

И тут Галя очень искренне, совсем не пьяно завизжала, в её голосе был такой жуткий испуг, что Артём оцепенел.

Она смотрела куда-то за диван.

— Галя! Да что там? — крикнул он, вскакивая.

— Ты... — не находя воздуха, без голоса выдохнула она в ответ, видимо, едва-едва придя в себя. — Ты жрёшь сырое мясо?.. Ты рехнулся совсем, шакал?

Артём наконец увидел, в чём дело: сбоку от дивана лежал кролик, которого он где-то бросил, пока искал кота.

Ужас был в том, что кролик был наполовину сожран — у него, кажется, не было одной ноги и части живота, из которого свисали мелкие кроличьи кишки.

Артём схватил кролика за уши, кишки раскрутились ещё длиннее.

— Тварь, меня вырвет сейчас! — взвизнула Галя.

— Это не я! — заорал Артём. — Это Чекист сожрал!

— Какой чекист? — заорала в ответ Галя. — Я тебя застрелю сейчас, контрик! — она действительно полезла в кобуру, которой не было у неё на боку, и, заметив это, она пнула валявшуюся возле ноги кружку.

— Это кот! Замолчи, наконец! — гаркнул Артём вне себя, и в ту долю мгновения, когда они оба молчали, раздался грохот.

Стучали в дверь.

Опрометью Артём бросился к дверям, по дороге вспомнил про Галину: где она? С ней-то как? Прибежал назад — её уже нет... По дверям опять грохотали...

— Да ч-ч-чёрт! — выругался Артём и снова метнулся ко входу, открыл.

Там стояли двое из надзора. Впрочем, как сказать — стояли: держались друг за друга.

— Шакал! Где был? — спросил первый и толкнул Артёма в грудь.

Пахло от него погано, будто он водку закусывал лягушачьей икрой с болотным илом.

— Кроликов проверял на чердаке, — с ходу ответил Артём.

— Га! Я же тебе говорил, — сказал второй и тоже пихнул Артёма.

Они прошли туда, где горел свет, — Артём оставил, когда бегал за кружками, — но на кухне не нашли того, что искали.

— Тут, одни, бля, крысы водяные, — громко сказал красноармеец; “тут” он произнёс как “тыт”, а слово “водяные” вытянул изо рта так, словно оно было длинное и отвратительное, как червь.

— Где кролики, ты, хер? — позвали Артёма.

— Он же сказал: на чердаке, — вспомнил один красноармеец.

— Электричество включи, шакал, — велели Артёму. — Не видно ни ляда.

Артём подумал и включил.

— Вот так, бля! — обрадовались свету надзорные и, грохоча, полезли на чердак.

Артём стоял внизу.

На чердаке раздалось топотанье, мат-перемат, снова топотанье, кто-то, кажется, упал... потом хохот.

— Да хватит одного, — сказал красноармеец, спускаясь и отхаркиваясь.

Артём посторонился, чтоб не плюнули на него. Потом сделал ещё шаг назад, чтоб его снова не пихнули.

— Тут есть кто ещё? — спросил красноармеец, не глядя на Артёма.

— Нет, — сказал он.

— А бабы есть?

— Нет, — повторил Артём.

— На, раздай и пожарь, — сказал красноармеец, сунув Артёму кролика со сломанной шеей.

“На всю ночь тут останутся...” — лихорадочно думал Артём.

Появился второй красноармеец, последние ступени ему не дались, и он с грохотом их пересчитал.

Посидел на полу, потом кряхтя поднялся. Заметил кролика в руках Артёма, молча забрал, крикнув своему товарищу, пропавшему на кухне:

— На хрен ты ему дал? Мы с ним тут будем сидеть, что ли? Пошли в женбараке возьмём эту... Ляльку. Она и приготовит.

Артём стоял на месте, моля, чтоб всё это, наконец, завершилось.

Надзорные ещё три минуты что-то мычали на кухне и потом не прощаясь ушли, оставив все двери открытыми.

Артём медленно, боясь сглазить, двинулся следом, в дверях увидел огромную белую ночь, в её свете всё было, как голое; торопливо закрылся.

— Галя! — позвал тихо.

В сторожевой камерке её не оказалось. И в лаборатории — нет. И в других комнатах — тоже нет.

Наконец на кухне он отдернул штору и увидел её. Она сидела на подоконнике и гладила кота.

Кот мурчал, зажмурившись, но одним глазом всё-таки поглядывая на Артёма.

— Он и свинок хотел сожрать, — шепнула она, кивнув на кота.

“Красноармейцы прямо рядом с ней стояли”, — понял Артём; ему уже было почти смешно. Хорошо хоть шторы плотные, а если б нет?

Галя была совершенно протрезвевшая.

— Оцарапалась, — сказала она ясным голосом. — Тут гвоздь где-то, — и показала палец с пунцовою каплей.

Артём взял Галю за запястье и слизнул кровь, тут же вытер язык о горбушку руки и снова слизнул.

— Вода поёт. Как тетерев, — сказала она, прислушиваясь.

Это из крана подтекало и потом, с еле слышным журчаньем, струилось где-то под полами.

\* \* \*

Про главное Артём с утра, когда запускал учёных, забыл.

Тем же вечером в Йодпроме Троянский встретил его с таким видом, как если бы ему всё открылось про Артёма самое ужасное, самое невозможное. И теперь Осип не знал, что с этим знанием делать.

— Не сообщил утром, простите, — быстрым извиняющимся шёпотом сказал Артём; отвёл Троянского в свою комнату и в ярких, впрочем, в основном надуманных подробностях рассказал про пьяных надзорных.

Приврал заодно, что те забрали не одного кролика, а двух.

— Вы должны написать бумагу об этом — на административную часть, — тут же сказал Осип. — Иначе с нас спросят.

— Вы что? — тихо ответил Артём. — Я не буду ничего писать. Они завтра придут и уже мне свернут голову.

— Вы разве трус? — спросил Осип, сплющив слово “трус” в губах до такой степени, что оно будто бы так и осталось висеть на губе, зацепившись последней буквой.

“Разве что вы дурак”, — подумал Артём, искренне скучая от глупого разговора и думая лишь о том, как бы побыстрее выпроводить этих чертей.

— Осип, а вы поинтересовались у товарища?.. — сказал, входя в комнату, ещё один учёный муж. У него в руках была кроличья голова с ушами, позвоночником и ещё какими-то шерстяными лохмотьями.

— Да, кстати, — всплеснул руками Осип. — А это что тогда?

Кролика Артём вчера выкинул вместе с котом в окно. Кот тут же принялся грызть мёртвую крольчатину. Артём был уверен, что никаких следов там не останется. Тем более что под окном были кусты — какого беса учёные мужи искали в этих кустах, непонятно.

“Хоть бы уши обглодал, чекистская сволочь”, — подумал Артём и, усмехнувшись, спросил:

— Вы хотите сказать, что я съел двух кроликов? Сырых? Вместе со шкурами? И у второго не доел голову?

— А вы хотите сказать, что это чекисты съели сырых кроликов? — спросил Осип.

Услышав про чекистов, второй учёный, покашливая, удалился. Кроличью голову он унёс, держа за уши.

— Они их не ели, они забрали их с собой, — терпеливо повторил Артём.  
— Да, — саркастически скривился Осип. — А одному кролику оторвали голову и выбросили её в окно. Не можете мне описать в подробностях, как это выглядело?

— Я не наблюдал этого, Осип, я не знаю, — сказал Артём, глядя Осипу в глаза и очень жалея о том, что не чувствовал никаких сил к тому, чтоб ударить этого тонкого и саркастичного человека по лицу. Это совсем было бы подло — не Сорокин же, не Ксива с мокрой губой.

— Итак, — сказал Осип с таким видом, будто он стоял на кафедре. — Или вы пишете бумагу в административную часть, или мы сами будем вынуждены её написать.

— Сами, — добродушно предложил Артём. — Только проваливайте отсюда поскорей.

— Что значит “проваливайте”? — вскрикнул Осип. — Это вам тут нечего делать! А мы в город больше не пойдём. Слишком много времени уходит на это.

— В какой “город”? — не понял Артём.

— В монастырь, в кремль — туда, в эту тюрьму, — сказал Осип быстро. В проёме дверей снова появился учёный муж, на этот раз без кролика, но за его спиной отсвечивал мудрой плешивой головою третий.

— Вы не имеете права, уходите, — ещё раз повторил Артём, понимая, что вот теперь он окончательно глупо выглядит.

Учёные переглянулись и поочерёдно хмыкнули; возникло чувство, что они таким образом общаются друг с другом.

— Смотрите, что у него есть, друзья мои! — сказал один из учёных, указывая пальцем.

Все трое вперились во что-то обескураживающее.

Артём склонился, ожидая увидеть на этот раз наполовину объеденную морскую свинку.

Но нет, то была недопитая бутылка водки.

Учёные в голос засмеялись — только не Осип.

Он вышел, презрительно взмахнув полой своего халата.

Артём, себя не помня, кинулся за ними следом в их учёные покои, схватил первую попавшуюся колбу и запустил ею в стену.

Не сказать, чтобы учёный люд проявил готовность к немедленному поединку, даже своими превосходящими силами. Однако и страха в их глазах не читалось.

— Да он пьяный до сих пор, — сказал один из них.

— Завтра же на вас будет написано подробнейшее заявление, — глухо пообещал Артёму другой, сидевший к нему спиной и даже не обернувшийся.

Артём выбежал на улицу, хотел было немедленно отправиться в кремль, но тут же раздумал: надо же Галию встретить, всё рассказать ей!

“Где она обычно ждёт?” — решал Артём, озираясь; сердце колотилось, губы дрожали — всё было невозможно обидным и нелепым.

Вдруг он понял, что надо забраться на крышу — оттуда лучше видно.

Вернулся в здание и сразу отправился на чердак: промелькнула мысль передуть оставшихся кроликов и покидать вниз, учёным на радость...

Гали не было видно нигде.

Удивительно, но ещё пели птицы — в тихом вечернем свете, в нежнейшем тепле подступающей белой соловенцкой ночи, — и пение тоже было тихое и тёплое.

Подлетела куда-то совсем близко кукушка и несколько раз гукнула. Артём поискал глазами: ага, прямо на столб во дворе уселась — крупная какая птица! Он первый раз в своей жизни увидел кукушку.

Она тоже заметила Артёма и сразу сорвалась с места, быстро взмахивая большими крыльями.

Оказывается, сверху было видно море.

Море лежало недвижимое, словно неживое. В море виднелись каменистые островки. Артём долго смотрел в даль вод.

Сердце его успокаивалось.

Солнце садилось не вниз, как там, в России, — оно словно бы катилось ровно по горизонту и так закатывалось понемногу.

Вид у солнца был такой, словно оно плавится и отекает, как мороженое, и к тому моменту, как уйдёт за горизонт, ничего от него не останется. Завтра встанет вместо огромного солнца куцый, еле тёплый шарик, весь вклокоченный от стыда.

Говорят, что солнце здесь всходит и заходит почти на севере. Значит, север — там.

“...А если в келью Филиппа нам пойти? — размышлял Артём, примитив бревенчатую избушку в палисаднике. — Дедушка Филипп, пусть погрешит, мы тихо...”

Комары пропали совсем.

Облака были розовые и фиолетовые и пенились красиво и ароматно, как французское мыло.

Виднелось ещё озеро. На воде время от времени появлялись быстрые круги, наверное, это плавали те самые ондатры, которых завёз Эйхманис.

Если б не круги, озеро казалось бы недвижимым и твёрдым, как из стали. Заходящее солнце лизало эту сталь, как дети железо в морозное своё русское детство, но только к озеру язык солнца не прилипал.

“А меня ж этой работы лишат — чего я тут сторожу? — вдруг напугался Артём. — Учёных, что ли?.. А ещё донос их, ой...”

Надо было, чтобы скорей явилась Галя и разрешила его сомнения.

Артём искал глазами то здесь, то там, потом снова затихал, не дыша. Пока он на крыше — ничего не происходит и не произойдёт. Только кролики внизу колобродят.

Кто-то, услышал Артём, влез на чердак: “...Проверяют, не жру ли, мерцающая глазами в полутьме, ещё одного крольчонка...”

Он едва успокаивался, как снова начинало нудно тянуть под сердцем: отчего же ему никак не удаётся прожить в покое хотя бы неделю! Артём представлял себя как то ли зверя, то ли человека, ползущего вверх по скале: то один камень обвалится под ногой и ухнет вниз, то другой... То какая-то птица начинает кружить вокруг его печени, и ни рукой от неё не отмахнуться, ни плюнуть в неё...

Так остро он всё это почувствовал, что поймал себя на том, что держится руками за крышу изо всех сил.

И хорошо, что держался, — потому что вдруг увидел в лесу человека.

Минуту вглядывался — может, блазнится... Взмахнул рукой, но человек не ответил.

“Галя? Нет? Если Галя — почему с другой стороны от дороги? И в какой-то странной рубаше незнакомой...”

Артём, стараясь не очень шуметь, спустился вниз... Учёные, оказывается, все уже легли спать. Самый беспокойный из них, видимо, только что проверил кроликов и тоже улёгся.

Мимо колодца, через заборчик, забирая выше, Артём пошёл в лес, к тому месту, где видел человека.

“Галя, наверное, а кто же? Даже не буду здороваться, а сразу поцелую её”, — решил он.

В лесу было гораздо темнее, чем на крыше, но вроде бы он верно запомнил направление.

От неожиданности Артём издал совсем новый для себя звук: “Хак!” — вырвалось из него, как если бы выпала из глотки мелкая внутренняя кость.

Перед ним стоял мужчина, старик.

Быть может, старик.

Уже после Артём попытался вспомнить, какой он был, и воспоминание выглядело так, словно в краску белой ночи добавляли ещё краски, густой, мутно-белой, и ещё, и снова — пока весь образ не размывался.

Он не был голым — на нём была рубаша, а на ногах, кажется, штаны; а вот имелись ли ботинки, или лапти, или сапоги? Скорей, он казался вросшим в землю, как дерево — или что?

Ноги, наверное, утопали в траве.

Ростом он был с Артёма, борода — белёсая, как эта самая белая соловейская ночь. Глаз было не различить.

Он был очень худ, больше любого фитиля, но стоял твёрдо. Посоха у него не было в руках, он ни за что не держался.

— Кто ты? — выдохнул Артём, не дойдя нескольких шагов; но сам он не желал знать, кто это; он заговорил лишь затем, чтоб ощутить, что ещё не онемел от ужаса.

Артём разом весь, до поясицы покрылся потом и на полушаге, не дождавшись ответа, развернулся и побежал в сторону окон, где были люди — живые, домашние, человеческие люди.

Никто его не окликнул.

Уже к утру, после случайного, вздорного, недолгого сна Артёму стало казаться, что, когда он побежал, старик протянул руку, и в руке были ягоды. Но как он мог это увидеть?

\* \* \*

Когда взошло солнце, всё вчерашнее стало нестрашным и каким-то, право слово, дурацким.

Артём сходил на это место, никаких следов, естественно, не нашёл; да и не искал особенно — ему нужно было срочно увидеть Галю.

“Может, она передумала?” — спрашивал он себя, взбивая ногой мох и траву.

“Передумала — что?” — отвечал себе.

Учёные ещё спали.

Чтоб не встречаться с ними, решил немедленно пойти, — как это теперь, оказывается, принято говорить, — в город.

Когда уже выходил, слышал писк морских свинок — они привыкли к утренней кормёжке; но возвращаться не стал — вот пусть учёные и кормят.

Какая-то птица провожала Артёма, перелетая с дерева на дерево.

Иван-чай, недавно застилавший всё вокруг, опал, повсюду стояли куцые метёлки.

Зато ощутимо пахло грибами.

Навстречу шли люди, наверное, на утренние работы. Через минуту Артём с удивлением разглядел людей из своей прошлой роты — ощущение было не самое лучшее.

Показалось, что они сейчас все как один начнут на него указывать и орать: “А вот фило! А он отлынивает! А пусть на баланы вместе с нами!”

Едва не дрогнул: хотел уже развернуться и пойти в обратную сторону. Совсем глупо выглядело бы...

Его тоже признали: на лицах появилось что-то вроде оживления.

Артём вдруг понял, насколько он лучше выглядит, чем те, кто идёт ему навстречу. Они были, как выжатые, с почерневшими глазницами, со впавшими ртами — серое старичье.

Ксива тряс губой так, что, казалось, она раскачивается из стороны в сторону, будто кадило, и всё дёргал Шафербекова, идущего впереди, но тот не отвечал: он и сам хорошо видел Артёма.

Шафербеков раздумывал о чём-то, но решения придумать не мог.

Сивцев поглядывал на Артёма словно бы с надеждой: а вдруг скажет хорошую весть или даст пирога.

“И Самовар тут!” — удивился Артём присутствию здесь бывшего генеральского денщика, который верой и правдой начал служить Бурцеву, однако ушедший в ИСО новый его хозяин прислугу за собой не потащил — пережитки: так что иди-ка ты, дядя, на баланы, советские люди сами умеют начищать себе сапоги.

“Здороваться, нет?” — пытался решить Артём; тем временем сблизились, Артём кивнул Сивцеву; денщик, не здороваясь, пронёс мимо своё самоварное лицо. “Старый дурак”, — посмеялся Артём, не спуская, впрочем, глаз с губы Ксивы и сизой щеки Шафербекова.

Благо наряд сопровождали десятник и два красноармейца, а то ещё неизвестно, как бы всё обернулось...

С каждым шагом, как слепая ископаемая черепаха, подползал навстречу Артёму монастырь.

Но когда он оказался ближе, впечатление стало немного другим: он увидел красные кремлёвские купола, обитые золотом, и если сощуриться, возникало такое чувство, что солнце тёплыми волнами стекает по красной жести.

“Надо бы Афанасьеву про это сказать, может, пригодится”, — взял себе на заметку Артём.

Он шёл к воротам широким кругом, так, чтоб увидеть здание, где жила Галя, — возле монастыря, в общей для всех чекистов бывшей Петроградской гостинице, на втором этаже. Артём проходил мимо этого дома несколько раз, но окон её не знал. Зато знал многое другое, и это знание было головокружительным.

— Ваш пропуск, — спросил красноармеец.

— Наш пропуск, — ответил Артём, подавая бумагу. Красноармейцу такой тон не понравился, но что поделаешь, казённую бумагу не съешь.

Вот она, зелёная стрела Преображенского собора. Афанасьев говорил, что этот собор весёлый, лёгкий, будто даже смешливый. Ещё он говорил, что купола его полны киселём.

“Если Гале про это сказать? Поймёт она?” — задавался вопросом Артём.

Бывший соловецкий митрополит колол дрова для рабочих кухонь.

Раздался ошипший сигнал — это пришла “Нева”, Артём помнил голос этой посуды ещё с тех пор, как грузил бочки с треской на причале.

“Вот разве что поесть я хочу”, — понял Артём, глядя на митрополита и слушая “Неву”.

Он же получил продуктовый паёк, как помощник Бориса Лукьяновича, там было чем поживиться.

“А прежняя рота твоя ворочает баланы в холодной воде, — сказал себе Артём, и сам же себе ответил: — И что мне? Сгореть со стыда? Я тоже ворочал”.

Чуть запоздавший, вёл свою группу Василий Петрович.

Тут Артём уже встал на дороге — не обойти: ему хотелось начать утро с того, чтоб его простили, тогда и день обещал удалиться.

Василий Петрович мотнул головой, тронул кепку, было видно, что он сердится по-прежнему, но что ж теперь — обходить этого бритого загорелого подлеца?

— Я на минутку, на минутку, — сказал Артём, приобняв Василия Петровича, говоря негромко и быстро. — Я не знаю, как часто ваши Афинские вечера собираются, Василий Петрович, и о чём вы там говорите, но я там видел Гракова... Вы будьте в его присутствии чуть внимательней, ладно? А то он пересказывает ваши разговоры кому попало.

Василий Петрович, так ничего Артёму и не сказавший, строго кивнул, сжал Артёму локоть и поспешил обратно к своей ягодной команде.

“А ведь я мог бы до сих пор ягоды собирать! — вспомнил Артём, глядя им вслед. — Василий Петрович уговаривал ведь... Хорошо было бы? И не случилось бы того, что случилось. Что ты, Артём, выбираешь?”

Выбор его был понятен, однако на данный момент недоступен.

Он так и не пошёл есть: а вдруг Галя появится и уйдёт по своим делам, уедет в Кемь или в Москву, и с концами? Эта шарлатанка, этот шкет, эта... У Артёма снова захолонуло сердце, и на мгновение чёрная рассыпчатая, трепещущая многими крыльями стрекоза появилась в глазах.

“Да что ж с тобой такое...” — едва ли не вслух засмеялся он. По уму, надо было бы давно убраться со двора, но Артём нарочно бродил под окнами ИСО: “Может, заберут, — поёживаясь, думал он. — Или самому пойти с повинной... Товарищ красноармеец, я съел двух кроликов на вверенном мне объекте, требую отвести меня в кабинет к Галине, она меня накажет”.

“Заберут сейчас, да не туда, — узнаешь...” — одёргивал себя Артём в который раз, и сам себя не слушался.

На дворе было довольно многолюдно, но все торопились по своим делам, никто не шлеялся без смысла и заботы.

Прошли трое красноармейцев, не глядя на Артёма. Он подумал, что и красноармейцы, и блатные всегда казались ему на одно лицо, как китайцы. Блатные — грязные, как обмылки, со сточенными зубами; красноармейцы — со своими собачьими лицами и вдавленными глазами. Как их было отличить? Проще было одну чайку отличить от другой.

Каждая пролетавшая мимо чайка старалась как можно громче проорать в ухо. С утра они всегда были голодные и злые. Эти твари за последнее время вовсе разучились охотиться и питались исключительно на помойках или возле кухни. А ещё промышляли воровством или открытым грабежом. Натуральное древнее, до Екатерины ещё, казачество!..

Блэк с Мишкой сделали круг за Артёмом, потом отстали: от него пахло солнцем, дураком, желанием, но не едой.

“Ой, а я знаю этого человека...” — угадал Артём.

Он заметил Виоляра, бывшего мексиканского консула, про которого рассказывал Василий Петрович. Виоляр поехал к родне своей жены в Тифлис и оттуда вместе с любимой угодил на Соловки.

Виоляр тоже никуда не спешил, но чего-то ждал, находясь в состоянии явственного душевного волнения. Он стоял на углу ближайшего здания, переступая с ноги на ногу и томясь.

“Может, он тоже Галю ждёт?” — посмеялся Артём, тут же ощутив свою шутку, как лёгкий удар под дых: нет, это было вовсе не смешно.

“Сейчас женбарак поведут, дурачина”, — пояснил себе он, и в подтверждение его догадки появился строй женщин, направлявшихся на общие работы: “На торф, скорей всего”, — прикинул Артём.

В ближнем к Виоляру ряду шла высокая тонкая женщина, вид её был горд и подбородок высок, но глаза источали такую тоску, что сердце защемило.

Поразительно, но женский строй, обычно матерящийся много хуже мужичья, при виде Виоляра стих, кажется, все знали, что у *них* свидание, и мешать не хотели. Они даже чуть тише пошли — все, включая конвоиров.

Виоляр держался за каменный угол, перебирая тонкими пальцами, и улыбался... Пожалуй, можно было бы сказать: улыбался изо всех сил. Если бы строй шёл мимо него на минуту больше, лицо Виоляра, наверное, вдруг лопнуло бы резкой, поперёк, трещиной...

Но едва строй прошёл, Виоляр вдруг собрался и, несколько даже облегчённо вздохнув, отправился по своим делам: кажется, он работал где-то при “Розмаге”.

Зато Артёму стало ещё муторней.

— Вижу тебя, вижу, — негромко произнёс женский голос у него за спиной. — Стоишь, как глупый. Ты бы ещё рукой мне начал размахивать: “Я тут, эй!”

Голос был очень довольный.

Артём не оглядывался, чтоб не спугнуть это чудо. Внутри у него словно вспорхнула стая мелких птиц.

— В Преображенский собор иди, на самую крышу, где погорелые окна. Скажи, что у тебя наряд там... мусор разгрести. Вот ключ, в кармане у тебя, а то там замок. По крытой галерее иди, а не через роты.

\* \* \*

— “Спасайте — не спасайте, ведь жизнь мне не мила, а лучше приведите, в кого я влюблена...” — негромко и лукаво пропела Галя, отряхивая юбку и свои колени.

Она сегодня была, как приручённая.

Артём ни слова не говорил, только смотрел.

Он и подумать не мог, что она в него влюблена, — с чего бы это? Но не огорчался: подумаешь, влюблена в кого-то, а поёт всё равно здесь, мне.

И если бы только пела, люди добрые...

— Тут ведь не смотри, что всё выгорело, — была церковь, ты понял? — сказала Галя.

Артём кивнул.

— Ты всё понимаешь, — согласилась Галя.

Свет здесь был неявный, пыльный, пахло горелым хламом, и Галя всматривалась в Артёма с таким видом, словно собиралась забрать его отсюда и отнести к себе домой.

На стенах ещё сохранились росписи: то одним, то другим глазом смотрел из разных углов Христос, клоками торчали бороды, отчётливо была видна розовая пяточка младенца.

— Есть люди, у которых мысли — желания, а желания — мысли, — сказала Галя. — А у тебя ни желаний, ни мыслей. Твои мысли — твои поступки. Но и поступки твои все случайные. Тебя несёт ветром по дороге. Ты думаешь, он тебя вынесет, но если он тебя вынесет куда-нибудь не туда?

Артём пожал плечами, чуть улыбаясь.

— Твоё понимание живёт отдельно от тебя, — сказала Галя. — Ты никаких усилий не делаешь и обычно не знаешь о том, что понимаешь. Но если тебя спросить — ты начнёшь отвечать, и вдруг окажется, что ты опять всё понимаешь.

Артём снова улыбнулся — ему было очень приятно всё, что она говорила; только он иногда прислушивался, не ползет ли кто-нибудь на чердак.

— Как же ты такой радостный сюда попал? — спросила Галя даже не его, а себя. Артём и не отвечал, хотя подумал: “Сюда много кто попал...”. — Тебе бы место... у моря, чтоб ты нырял, а барышни пугались, не утонул ли. “Вот я тут и ныряю”, — хотел ответить Артём, но снова не стал.

— Только твоё понимание для твоей радости лишнее, поэтому ты не думаешь ни о чём, — заключила Галя, ещё раз всмотревшись в него. — Я всё никак не решу: объяснить тебе хоть что-нибудь или оставить тебя в твоём чудесном полубытии?

Артём, чуть закусив нижнюю губу, смотрел на неё. У Гали по шее стекла капля пота.

Она вдруг зажурилась и чихнула, и сразу после этого засмеялась.

Артём в который раз прислушался: не идёт ли кто сюда.

— Кровля собора, — сказала Галя, подняв указательный палец вверх, — была шашечная: когда начало гореть, шашки ветром бросало до Святого озера! Верста, наверное! Говорят, было очень красиво... Когда сюда пятьсот лет назад приплыли монахи, тут был зелёный луг. А когда сюда пять лет назад пришли мы, — пожарнице.

“И они построили храм, а вы — тюрьму”, — подумал Артём отстранённо, даже добродушно, безо всякой обиды на свою судьбу.

— А я знаю, что ты подумал, — сказала Галя.

Артём был уверен, что не знает, но всё равно немного испугался: “Опять сейчас начнётся”, — подумал он неопределённо.

— Эйхманис говорил: тут всегда была тюрьма, — примирительно сказал Артём на всякий случай: а вдруг всё-таки знает?

— А чего это ты про Эйхманиса разволновался? — с ходу спросила Галя, как ждала.

— Почему? — искренне удивился Артём. — Я не разволновался.

— Всё время вспоминаешь про него.

“Это не я вспоминаю, это ты сама вспоминаешь”, — так и рвалось с языка у Артёма, но он заткнулся, не стал об этом.

— При царях — ладно, — не слушая его, торопилась Галя. — Знаешь, кто тут сделал новую тюрьму? После революции? “Союзники” — белогвардейские товарищи: они сюда сослали представителей Временного управления из Архангельска, те показались им слишком “красными”. А?

Артёму было почти всё равно, но ей, очевидно, нет.

— Теперь тут обижают семь тысяч человек, — говорила Галя о том, что, видимо, давно хотела сказать. — А до сих пор тысячу лет секли всю Россию! Мужика — секли и секли! — Артём поёжился: их точно сейчас ус-

лышат, как она всё это объяснит? Что читает лекцию заключённому Горяинову? — Всего пять лет прошло, но кому сейчас придёт в голову отвести взрослого человека на конюшню, снять с него штаны и по заднице бить кнутом? — почти уже кричала Галя. — Ты не думал об этом? Как быстро все про всё забыли!

— Зато здесь бьют дрынком по голове, — сказал Артём глухо: это самое малое, что он мог сказать.

— И что? — спросила Галя с вызовом, сузив бешеные глаза.

— Мне казалось, что так не должно быть при новой власти, — сказал Артём, ни о чём не думая: а с чего ему было молчать теперь?

— Не так складось, як казалось! — чьими-то чужими словами выкрикнула Галя, лицо её было яростным и неприятным, она привстала с таким видом, словно хотела ударить Артёма по лицу, расцарапать ему щёки и глаза до крови, чтоб ему было больно, больно, больно — большее, чем ей.

Артём тоже встал. Она крикнула: “Ты!..” — хотела, наверное, добавить обычное здесь “...шакал!”, но не стала. Ногами они растревожили пыль, стало противно дышать. “Тварь!” — наконец, придумала она и ударила его даже не кулаком, а будто бы когтями в грудь, под левое плечо. “Прекрати!” — тоже почти выкрикнул он, схватил её за руку, рванул к себе. Он явно был сильнее неё, но она тоже оказалась цепкой, сначала упиралась, потом вдруг со злобой и всерьёз вцепилась зубами ему в кисть руки. Артёму некуда было деться: не орать же! Он зажмурился, стиснул челюсти, терпел — было действительно больно, и сразу потекла кровь по руке, — прокусила ведь, ты посмотри...

Галя отпрянула, он тут же перехватил своё запястье рукой, зажал рану.

Она стояла с сияющими глазами: что? понял? ты же всё понимаешь! Ну, так понял ещё раз?

Крови у неё на губах почему-то не было.

Артём дышал через нос.

— Испакостил меня, ещё и ведёт контрреволюционные разговоры, — сказала Галя прочувствованно, будто бы свершив месть.

Артём ещё почти минуту смотрел на неё молча, потом засмеялся: это было смешно — про разговоры.

Она тоже попыталась засмеяться и вдруг заплакала. Артём впервые видел её слёзы и испугался.

— Галя, — позвал он и приобнял её, ожидая, что она оттолкнёт его, но она не оттолкнула. Но и не приникла. Плакала негромко, не жалостливо, но уверенно, словно ей надо было выплакаться немедленно.

Он попытался повернуть её лицом к себе, и она, наконец, поддалась, повернулась.

Вдруг он сказал ей прямо в пахнувший его кровью рот:

— Я люблю тебя.

Она услышала, но вела себя так, словно ничего не произошло.

Чуть отстранилась, руками вытерла лицо; оно было не раздражённое, но и не приручённое уже, а просто лицо.

— Для женщины надо хлопотать, голуба, — сказала она, не глядя на Артёма и чуть разглаживая заплаканные веки и растирая щёки. — Ты, кстати, помнишь, что тебя могут расстрелять в любой день? И как мне быть? Когда я хочу платок с разводами, бретки с резинками и пудру “Лебяжий пух”?

— Ты похлопочи, — сказал Артём тихо с ударением на “ты”. — А потом вся твоя жизнь будет, как лебяжий пух.

— Я похлопотала. Сторожем должен был идти ваш владычка Иоанн, а пошёл ты. А батюшка больницу сторожит и двор возле неё метёт.

— Выпусти меня — я буду хлопотать, как последний раб, — повторил Артём.

— Выпуцу, — вдруг просто ответила она, и тут же: — В театр идём завтра? Премьера.

И, не дожидаясь ответа, взяла сумку и направилась к выходу.

— Галя. Работать мне где? — спросил Артём, чувствуя себя мелко и стыдно.

— Ты сторож? Вот и сторожи. На тебе ответственность, — ответила она, не оглядываясь, и, выйдя, быстро начала спускаться вниз по лестнице.

Через несколько минут Артём шагнул следом. У дверей, когда закрывал чердак, его едва не хватил удар: на полу возле входа, полуголый, сидел беспризорник, леопард, хлопал глазами, ничего уже от голода и одичания не боясь. Среди всех эти погорелых росписей и прокопчённых святых он выглядел, как натуральный малолетний чёрт.

— Брысь, чтоб тебя! — с перепугу выругался Артём, чуть не выронив ключ.

Тот даже не двинулся, набрал в рот соплей погуще и сплюнул.

Чего ему было надо — неясно. Подслушивал, нет? Тут такое происходило!..

Артём уходил с опаской, торопясь: вдруг да бросится на спину этот чертяка.

Отпустило, едва увидел взрослых лагерников при свете: блатарей, доходяг, шваль человеческую — все свои, хорошо.

— Прибрался, матери твоей бис? — спросил внизу дневальный.

— Иди, проверяй, — ответил Артём через плечо. — Чистота, как в детской.

Он вышел на улицу, поднял голову.

Два окна в погорелом соборе.

\* \* \*

Они встретились глазами, когда он входил в зал. Место Артёма было ровно перед Галей, в третьем ряду.

“Она нарочно так, — догадался Артём. — Чтоб я думал про неё весь спектакль”.

В последний миг перед тем, как сестра, Артём поднял глаза и увидел в невысокой боковой ложе Эйхманиса. К счастью, тот разговаривал с кем-то и Артёма не заметил.

Артём поскорее уселся, чувствуя, как голова гудит от прилива крови. Не без труда справился он с желанием сползти под ряды и там затаиться.

Галя тем временем не унималась. Ей нужно было кого-то окликнуть, сидя ей это показалось неудобным, и она встала, при этом задев затылок Артёма бедром.

Пожалуй, это было приятно, но не пред глазами Эйхманиса. Артём чуть наклонил голову, чтоб дать Гале покрутиться вволю, но едва разогнулся и сел прямо, тут же почувствовал её руку у себя на плече, причём мизинцем она дважды быстро пощекотала его шею. Перегнувшись через Артёма, Галя сказала кому-то, сидящему впереди него:

— Френкель, вас Эйхманис ищет, идите к нему в ложу, — и только после этого убрала руку.

Человек, которого искал Эйхманис, быстро поднялся, обернувшись, едва кивнул Гале, осмотрел Артёма — как раз в то мгновение, когда Галина рука сползала с его плеча, — руку эту заметил, но сделал вид, что ничего не видел, отвернулся в сторону и, прося прощения, двинулся к началу ряда.

Он был невысок и малоприметен, но что-то в его движениях, в его крепко сжатых, чуть влажных губах выдавало человека жуткой, упрямой воли.

— Нафталий Аронич, — услышал Артём голос Эйхманиса, — иди сюда, надо быстро переговорить.

Френкель поднял голову, сдержанно улыбнулся и снова кивнул, но чуть иначе, на военный манер.

Одновременно с Френкелем вдоль первого ряда неспешно шёл Моисей Соломонович. Он давно уже высмотрел Артёма и с необычайной приветливостью махнул ему рукою. Здравовался он, впрочем, почти со всеми, на самые разные лады, словно его приветствия были сувенирами из лавки: каждому доставался свой.

— “Мара, Мара, что я буду делать, когда погонят на остров Соловки! Ты здесь будешь вдоволь наслаждаться, а я погибну, сгину от тоски...” — перездоровавшись вроде бы со всеми, красиво пропел Моисей Соломонович. Артём был почти уверен, что это сделано и для него тоже, чтобы показать, насколько соседствовавший с ним горемыка освоился теперь: может пропеть сомнительную песенку на глазах у чекистов, и ничего ему за это не будет.

Френкель, увидел Артёма, быстрым взглядом окинул Моисея Соломоновича, и во взгляде этом была неприязнь, но настолько мгновенная, что едва ли кто-то ещё заметил это.

Зал быстро собирался, рассчитан он был человек на пятьсот.

Артём случайно заметил усевшихся рядом Виоляра и его жену: сцепившись руками, они смотрели прямо перед собой, ничего, похоже, не видя и не слыша.

Все сидели вперемешку — красноармейцы и заключённые; самое высокое начальство, впрочем, располагалось в двух боковых ложах, а первые ряды были густо усеяны сотрудниками администрации и управленцами.

Из рот, что гоняли на общие работы, поблизости не было никого — зато через три места от Артёма трогал большим пальцем щёку Бурцев: “Хорошо выбрит, нет?” — да возле него с обеих сторон, едва не в половину ряда, располагалась всякая, как Артём мысленно определил, погань из Информационно-следственного отдела.

“Наверное, Бурцев захочет понять, как я здесь оказался”, — подумал Артём без особого удовольствия. Лучше бы Галя посадила его в самый дальний угол.

Галя могла бы усестись и на первый ряд, но оттуда, осенило Артёма, ей нельзя было бы видеть Эйхманиса.

И, может быть, его, Артёма.

Или ей хотелось видеть их обоих сразу.

Сам Артём разглядывал серый занавес с белой чайкой. В лагере всё было в этих чайках, он так давно с ними свыкся, что только когда занавес начали раздвигать, вспомнил: такая же чайка была символом Московского художественного театра.

Первые минуты действия он вообще не понимал, что происходит: Галя за плечом, Бурцев неподалёку, Эйхманис слева... Артём несколько раз скопился туда, в начальственную ложу, и увидел, что Френкель так и не ушёл — остался сидеть возле начлагеря. Как-то он видел этого Френкеля на построениях — обычный заключённый, чего он там расселся в ложе?

По сцене туда и сюда бегали заламывающие руки девушки, судя по всему, дочери купца, который сидел по центру и так раздражённо расчёсывал руку бороду, что, казалось, она сейчас отвалится.

Тем более что в бороде был Шлабуковский, в обычное время её не носивший.

Голос, в отличие от бороды, у Шлабуковского оказался собственный, и непомерный: хватило б и на два зала — он даже шептал так, что его отчётливо было слышно.

Ещё Артёма удивило то, что сидевшие вокруг него и особенно позади не просто следили за действием, но всякую двусмысленную реплику воспринимали двояко.

— На что ты рассчитываешь, скажи на милость? — спросил купец у появившегося на сцене молодого человека.

Помимо четырёх дочерей, у купца оказалось ещё и два сына — первым предстал зрителям младший.

— Предоставьте мне свободу спать, гулять и есть, когда я хочу! — воскликнул сын, полубернувшись к залу, и услышал в ответ хохот и одобряющий гул.

Артём чуть оглянувшись — и сразу увидел Эйхманиса, который тоже смеялся и рукой указывал Френкелю на зал. Френкель почтительно склонил голову, но улыбки на его лице не было.

Бурцев, кстати, тоже не улыбался, но, похоже, внимательно изучал дочерей купца. Зал его бесил.

— Порядку не будет, — сказал Шлабуковский, выдержав нужную паузу, и Эйхманис снова улыбнулся, а на первых рядах кто-то захохотал.

Следом появилась мать, как водится в русской литературе, сердобольная и тихая, в меру сил пытающаяся защитить детей от злой судьбы и скорого на расправу отца.

— Все у нас тихие и смиренные, — со слезой в голосе шептала она одному из сыновей, делая широкий жест рукой, осеняя и зал тоже.

— При отце! — обрывал её сын и разве что не указывал на Эйхманиса. — А так за пазухой ножи у всех!

Зрители снова гудели, отчего-то довольные собой, лавки скрипели, царило замечательное оживление, словно все сидевшие в бывшем Поваренном корпусе бывшего монастыря собирались после занавеса сесть в трамвайчик, а то и на личный автомобиль, и отправиться, куда захочется.

Эйхманису очевидным образом нравилось всё происходящее: он отвлекался от сцены, лишь когда зал особенно шумно отвечал репликам артистов.

— Имеет право! — кричал купец.

— Ваше право — палка о двух концах! — отвечал старший сын.

— Дрын! — крикнул кто-то ему в тон, и это было поводом для мгновенного веселья, которое, впрочем, затихало немедленно, потому что за событиями в пьесе никто не забывал следить, и сопереживание было явное, прочувствованное.

Сказать, что актёрская игра оказалась бесподобна, Артём не мог бы, но, вне сомнения, это был настоящий театр, не любительский.

На реквизит Эйхманис явно не поспешил: мебель стояла купеческая, крепкая, шторы на окнах висели такие, что хоть платья из них шей, под конец открыли шампанское — так даже оно вспенилось, дало настоящий аромат.

Все доверились действу безоглядно.

В последней сцене купеческие дочери и старший сын с невестой, стоя спиной к зрителям, приникли к несуществующим окнам, в ужасе глядя на только что застрелившегося отца. За сценой действительно прозвучал выстрел, похоже, из револьвера, и, чтоб разглядеть то, чего в действительности за сценой не было, многие встали, особенно задние ряды... Кто-то тем временем уже аплодировал, кто-то кричал “Браво!”, дочери кушца поспешили за кулисы, но тут же выбежали обратно, приведя за руки Шлабуковского. Слава Богу, он не был убит, все были несказанно рады его видеть, и Эйхманис тоже. Только Виоляр, мало понимавший по-русски, смотрел на сцену удивлёнными глазами, не отпуская руку жены.

Артём не выдержал и обернулся на Галю, словно бы имел ко всему происходившему отношение. Она улыбалась и по-домашнему, как родной и любимый человек, моргнула ему сразу двумя глазами. Артём опешил, поспешил отвернуться и встретился взглядом с Афанасьевым; тот выглядывал из-за сцены, держа себя рукой за рыжий чуб, и, казалось, в глазах его было понимание, совершенно Артёму не нужное.

Хотя, может быть, всё-таки показалось.

Когда уже все поднялись на выход, Афанасьев снова появился и крикнул:

— Тёма! Тёма, не уходи пока.

Артём, извиняясь и не глядя в лица идущих навстречу, двинулся к сцене, стараясь держаться подальше от ложи Эйхманиса.

Они шумно обнялись с Афанасьевым.

— Пойдём, я тебя познакомлю со Шлабуковским! — позвал он; Артём не успел ничего ответить — разгорячённый и покрасневший Афанасьев говорил без умолку. — Как он дал кушца, ты видел? Я наблюдал за Эйхманисом — тот даже руки потирал, — и Афанасьев показывал как.

В этой гримёрке Горяинов уже бывал.

— Вот, это мой друг Артём, — представил Афанасьев, причём из-за плеча товарища Артём и видеть не мог, кому его представляют. — С Фёдором Ивановичем работает, — отчётливым шепотком добавил Афанасьев.

Артём, наконец, сделал шаг вбок — Шлабуковский беззвучно, чуть устало хохотнул: то есть поднял подбородок и открыл рот, трижды выдохнув.

Артём понял теперь, отчего тот так смеётся — без звука. С его-то голо- сом захохочешь — можно и посуду перебить.

— Да мы знакомы, — пояснил Артём.

— А, чёрт, — засмеялся Афанасьев, схватил себя за чуб и отвёл к сто- лу, где щедро, на два блюда, были нарезаны колбаса и брынза, и хлеб ле- жал рядом, и кто-то уже нёс самовар, а Шлабуковскому откуда-то из-под по- лы подавали рюмку с чем-то зелёным.

— Это было прекрасно, восторг, — сказал Артём, улыбаясь.

— Ещё... — и Шлабуковский поднял два пальца, показывая кому-то, кто принёс ему рюмку.

Рюмки тут же появились, целая перезвончатая россыпь — у двух актё- ров, игравших сыновей, Афанасьева, Артёма, ещё кого-то.

Женщин не было — похоже, им предназначались другая гримёрка. Из- редка доносились женские голоса.

— Идут, идут! — оповестил кто-то, стоявший у дверей.

Все разом опорожнили рюмки, стаканы и кружки — и побросали в лов- ко подставленную кошёлку.

Когда в гримёрку вошёл Эйхманис, кошёлка как раз задвигалась под стол.

За Эйхманисом втиснулись Френкель и Борис Лукьянович. Артём уже было отвернулся в надежде, что удастся переползти в дальний угол и оста- ться незамеченным — на глаза попалась борода Шлабуковского, мелькнула шальная мысль её натянуть: хорош был бы он с чёрной бородой, да без во- лос... вдруг Артём увидел, как в проёме дверей показалась Галя, нарочито спокойная.

“К чёрту, — отчётливо подумал Артём. — К чёрту. Что ей надо?”

— А театр? — спрашивал Эйхманис Бориса Лукьяновича, продолжая только что начатый разговор. — Вы видели репертуар нашего театра? — Шлабуковский встрепенулся, но никто на него не обратил внимания. — Здесь половина постановок не могла бы идти на материке. А карикатуры ви- дели в нашем журнале? А симфонический оркестр? — и Эйхманис усмех- нулся. — Думаете, я не понимаю, что они дают Рахманинова? Ненавистни- ка советской России и эмигранта? Тот же оркестр играет “Прощание с дру- зьями”: марш, который я знаю с юных лет, но назывался он тогда — “Дву- главый орёл”!

— Я слышал, — глухо отвечал Борис Лукьянович. — Я тоже знаю этот марш.

— Знаете такое выражение: “Иго моё благо”? — продолжал Эйхманис; Артём вдруг догадался, что начлагеря подшофе — он его уже заставлял в та- ком состоянии. — Или как там ваш купец сейчас говорил? — обратился Эйх- манис на этот раз к Шлабуковскому, и тот сразу привстал, пытаясь вспо- мнить и понять, какую из реплик имеют в виду, — “...а хочется мне прежде всего, — процитировал Эйхманис по памяти, — о духах ваших думать...”

— “...мне кажется, в них корысть да вражда”, — закончил Шлабу- ковский.

— Так! — сказал Эйхманис и безо всякого перерыва, вполне приветли- во поинтересовался: — Артём, как там обмундирование, получил?

— Получил, — ответил Артём, глядя на Эйхманиса глазами совершен- но, как ему самому показалось, крутлыми — от стыда и ужаса.

— Ну, садитесь, — обратился Эйхманис уже ко всем, тут же повернул- ся к Френкелю с тихим вопросом: — Принесли? — Френкель, в свою оче- редь, подал знак кому-то за Галиной спиной, и оттуда, через головы, пополз- ли бутылки вина — две, три, четыре... — Празднуйте, — сказал Эйхманис широко разводя руки. — Спектакль был... — Артём почувствовал, что у всех, имеющих отношение к постановке, чуть-чуть приостановилось серд- це, особенно у Шлабуковского, который, по-видимому, был ещё и режиссё- ром... — достойный нашего театра.

Больше ни слова не говоря, Эйхманис развернулся и медленно пошёл к выходу. Френкель шёл рядом, рукой отстраняя попадавших на пути ар- тистов.

Галя, видел Артём, будто нехотя пропустила Эйхманиса, не глядя на него и в то же время необъяснимо как обращённая именно к нему.

Эйхманис, чувствуя это, прошёл мимо Гали, как проходят мимо голой, без стекла, керосиновой лампы.

\* \* \*

Возвращались по кельям хорошие-прехорошие: Шлабуковский под руку с Тёмой, следом не в такт приотпывал Афанасьев, распевая с длинными то ли многозначительными, то ли просто пьяными перерывами:

— Рви, солдат... пи... ду... на час... ти! ...особливо... чёрной... мас... ти! Артёму казалось, что поэт смотрит ему прямо в затылок, когда поёт.

“...Неужели догадался? А как?”

— Смотрите, у Мезерницкого свет, — оповестил компанию Шлабуковский, указав тростью. — Сейчас мы к нему нагрнем! Афанасьев, не так ли? Артемий?

— Эх, мне же на смену, — только сейчас вспомнил Артём. — Мне же давно пора.

— Да ладно, подождёт ваша смена, — отмахнулся Шлабуковский. — Вы же при Эйхманисе работаете, Афанасьев сказал. А Эйхманис нам велел: “Празднуйте!” Это был, позвольте, приказ!

Станным образом Артём нашёл слова Шлабуковского убедительными.

“А что будет-то? — хорохорился он. — Кто с меня спросит? Учёные? Я их кроликам скормлю всех...”

Зато Афанасьев упёрся:

— Нет, нет, я туда не ходок.

— Послушайте! — сказал Шлабуковский, нависая над поэтом — он был на голову его выше и вообще статен, — вы туда не ходили оттого, что водились с одними урками и фактически лежали на дне среди раков и... пивок. Но теперь — теперь вы приобщены к храму искусства и, можно сказать, имеете право — наверх...

— Я всегда имел право, — с неожиданным и грубоватым пафосом отвечал Афанасьев, — но туда мне не нужно.

Шлабуковский только открыл рот, чтоб произнести ещё один монолог, однако Афанасьев, сказав “Адьо!”, отправился своей дорожкой, а именно, вдруг красиво засветев, позвал Блёка и сделал с ним круг рысцей по двору, размахивая припасённой колбаской.

— Нам тоже надо было положить колбасы к вам в карманы, — раздумчиво сказал Шлабуковский. — Ну, ничего — нас примут и с пустыми руками — мало ли я их прикармливал.

Дневальные, похоже, знали особое положение Шлабуковского: его никто ни о чём не спрашивал — он заходил в свой корпус так, как не столь давно в лучшие московские и петербургские рестораны.

Они уже были возле кельи Мезерницкого, когда оттуда вышел Василий Петрович.

— О, гости нежданные, — устало и не очень радушно удивился он. — ...А мы уже расходимся.

— Даже шарлотки не осталось? — спросил Шлабуковский и смело вошёл в келью.

Так получилось, что Василий Петрович остался на пути Артёма.

— Ну, что? — спросил Василий Петрович, не сходя с места.

— В театре был, — ответил Артём, ещё не очень распознавший настроение старшего товарища.

— И как? — спросил Василий Петрович всё в том же тоне.

— Очень понравилось, — искренне ответил Артём, и так как Василий Петрович молчал, и молчание можно было расценить как ожидающее, продолжил: — Старшего купеческого сына играет Иван Комиссаров — бывший бандит, он с пулемётом грабил подпольные валютные биржи, а такого бари-

на умеет делать, — Артём засмеялся. — Вы никогда не были? А после спектакля несколько пьес сыграл местный оркестр. Тоже... впечатлительно.

— Оркестры, ч-чёрт! — впервые на памяти Артёма выругался Василий Петрович, глядя куда-то в сторону. — А у помещиков тоже были свои крепостные театры! На кой же дьявол надо было менять одних на других?

“В каком-то я дурацком положении оказался, — сокрушённо, но вместе с тем весело подумал Артём. — Галя меня кусает за то, что я про дрын вспоминаю, Василий Петрович рвёт на части за крепостной театр. Чего я делаю посредине между ними? Пересадите меня на мой край опять...”

— Что играл вам этот прекрасный оркестр? — с издевательской любезностью поинтересовался Василий Петрович.

— Рахманинова, — шмыгнув носом, ответил Артём: он всё уже понял, нужно было как-то заканчивать разговор, только он не мог понять, как: прорваться ли к Мезерницкому, идти ли в свою келью или, не заходя туда, спешить в Йодпром.

— Рахманинова? — делано удивился Василий Петрович.

— Да. И ещё “Проклятьем заклеимённый”.

— И как?

— Звучит, — ответил Артём.

— Я слышал, слышал, как тут звучит пианино, — мстительно продолжал Василий Петрович. — Его тоже сослали на Соловки, оно поёт мимо нот. Только глухие люди не способны это слышать!..

Артём пожал плечами, но в темноте этого не было видно, да и кого тут волновали его жесты...

— Если б прислушались, сразу осознали бы: всё, что вокруг вас, — какофония! Какофония и белибердовы сказки! И варвары, изъясняющиеся на неведомом наречии, решившие обучить нас — нас! — своему убогому языку! Своровали всё — страну, свободу, Бога... Теперь ещё и язык воруют! У меня в голове навалены эти слова, торчат углами... “Проклятьем заклеимённый” — это что? Опера из жизни индейцев? “Диктатура пролетариата” — это как? Может, это блюдо? Из чего его готовят? “Интриги Антанты”, “весна революции”, “светлое будущее”, “тяготы царизма”, “борьба классов” — а это что такое? Названия канонеров? Что за воляшок? Вы знаете смысл этих ругательств? В качестве чего их можно использовать? На этом языке можно спросить: “Который час?” Или, скажем, раскланяться и сказать: “Доброго вам утра!” За что нас одарили этой уродской речью? “Чрезвычайная комиссия!” — а? Кофейня — знаю. Булочная — знаю. Чайная — знаю. А чрезвычайная — это что? Самая главная чайная? Или это означает, что у нас до сих пор не было никаких дел, а теперь вдруг настали такие важные дела, что — Боже ты мой! Ведь они не просто важные, а чрезвычайные важные! Глаза на лоб лезут от их важности! Всё кругом новое, в кумаче! Раньше были кумовья, а теперь сплошные кумачи! Тогда жили-были шерочка с машерочкой, а нынче с ним ещё прилепилась каэрочка... Вашего купеческого сына в финале, надеюсь, расстреляли? Пьеса-то из новых? Про тяготы и эксплуатацию?

— Нет, это старая пьеса.

— Вот! — поднял вверх палец Василий Петрович. — Старая пьеса! Всё вокруг — старая пьеса! В самой старой пьесе было сказано: “Не надо бояться тех, кто убивает тело, но душу убить не сможет, скорее надо бояться тех, кто может и душу, и тело погубить в геенне”. Знаете такого автора, господин товарищ Артём?

Артём повернулся, чтоб уходить, но Василий Петрович поймал его за рукав. Пальцы у него всё-таки были железные.

— Чекист, впервые поднявший над Соловецким монастырём красный флаг, сел сюда как заключённый, — начал шептать ему на ухо Василий Петрович; казалось, что он пьяный в хлам, но алкоголем от него вовсе не пахло. — Вы ничего ещё не поняли, Артём? Их всех сюда же и посадят. И здесь же и зароят. Тут Бог близко. Бог далеко от себя пропащих детей не отпускает. Этот монастырь — не отпускает! Никогда! Бунт в 1666 году был — его подавил Иван Мещеринов, подчинённые ему стрельцы побивали монахов

каменными, устроили тут бойню, и трупы потом не хоронили. Так Иван Мещеринов сам вскоре сел сюда же! И грек Арсений, который правил церковные книги — из-за чего, собственно, и взбунтовался монастырь, — он тоже сел! И они сидели все вместе! И жрали из одной поросячей плошки! И вы так будете сидеть: и Эйхманис твой, — здесь Василий Петрович начал говорить вообще одними губами, — и все его бл...и, и ты, глупец, с ними! Этот монастырь — он же с зубами! Ты видел его сторожевые башни? Они же — каменные клыки! Он передавит всех, кто возомнил о себе!

— Василий Петрович, — очень внятно сказал Артём, — отпустите мою руку. Или я вас ударю.

— Да, конечно, — согласился Василий Петрович и очень мягко отпустил руку. — Безусловно, ударите. Я вам напоследок вынужден передать: Мезерницкий просил вас более не навещать его.

— В чём дело? — не понял Артём.

— Вы же приближённый Эйхманиса, да? И гордитесь этим. И все мы рады за вас. Мне уже рассказали, в каком окружении вы сидели только что в театре. А ещё, говорят, вы далеко за полночь вдвоём с Эйхманисом пьёте водку и обсуждаете огромные вопросы. Это очаровательно... В молодые ещё годы — подобный успех, о!.. Но такие люди в нашем кругу неуместны.

— Да что за... — почти прокричал Артём, но махнул рукой и в ярости побежал вниз.

— Неуместны! — крикнул ему Василий Петрович вслед.

“Что за херня! — лихорадочно бубнил Артём, громыхая по ступеням, — Фарисей! Фарисей и безмозглые дураки! Мезерницкий сам играет в духовом оркестре! Шлабуковский — в театре! А Граков — в газете... Я же, дери за ногу, предупредил их про Гракова, и мне теперь заказан сюда вход? Мне! За то, что я два раза рыл для Эйхманиса землю и один раз сидел в театре среди сволочи из ИСО? Да пошли они все к растаковой матери! Знать я их не хочу! И этого старого болвана тоже! Пусть он собирает свои ягоды, пока не околет...”

Артём даже остановился, едва преодолевая желание взбежать наверх и оттащить Василия Петровича за его старые уши в синих прожилках, взять его за шиворот и бить носом в ссаный кошачий угол.

Надо было на работу, на работу! Там можно успокоиться, а здесь больше нечего делать, вообще можно теперь не возвращаться сюда.

Артём бегом добежал до поста, сунул красноармейцу пропуск и перетаптался в бешеном нетерпении, пока тот пытался уловить листком фонарный свет.

— Может, мне вслух прочитать? — спросил Артём сдавленным от злобы голосом.

— Бабе своей будешь вслух уроки давать, — сказал красноармеец и безо всякого почтения поинтересовался: — Ты где спал, тюлень?

Артём сморгнул, немного помолчал и глупо спросил:

— К...то?

Красноармеец свернул его пропуск вчетверо, положил в карман и громко харкнул в сторону.

— Выход за пределы уже запрещён. Ты опоздал на два часа. С минутами. В следственный корпус твою бумагу отнесу завтра с утра. Будешь им всё объяснять. А пока пошёл в свою роту отсюда и доложи командиру о том, что я тебе тут сказал. Пусть он сам думает. Потому что за невыход на работу тебе всё едино карцер.

Артём сжал зубы и пошёл назад в свой корпус.

Если б разжал зубы на миг — завыл бы.

\* \* \*

Ему несколько раз за ночь виделся один и тот же полубред: как он отправляется к Гале, подробно рассказывает ей о самоуправстве красноармейцев, она берёт наган, вместе они спешат к воротам, и — бах! бах! — всё

в дыму, красноармеец на земле, Артём подбирает его винтовку. Второй из наряда, сняв с головы будёновку и прижимая её к груди, падает на колени.

Артём так не хотел отпускать эти им самим надуманные виденья, что зубами вцепился в покрывало: очнулся с этой дерюгой во рту, с трудным похмельем — вроде бы и не от вчерашнего вина, хотя, может быть, и от него тоже.

Ещё было утро — и сразу же, едва открыл глаза, взвыл гудок электростанции. Теперь, оказывается, подъём был не в пять, а в шесть и будили уже не колоколом.

С мутным сердцем и тошнотой Артём начал одеваться, но потом вдруг остановился.

“А зачем я? — спросил себя. — Куда? Чтоб на меня орал начальник роты? Да кто он такой? Я вообще должен быть в Йодпроме, чего мне делать на построении? Как все разойдутся — пойду к Гале, и пусть она вернёт мне пропуск... Всего-то! А какой ад был в голове ночью! Ничего ж не случилось!”

В коридоре суетились с завтраком, пахло едой; Артём ногой выдвинул ящик из-под своей лежанки, отломил хлеба, стал есть — без всего... Потом подумал, поискал соль — посолил, получилось совсем хорошо.

Лагерь выявлял в себе всё новые качества, думал Артём: оказывается, тут имелась возможность не только погибнуть на балахах, но и попасть в некий зазор, затаиться, пропасть — и тебя могут не заметить, забыть.

“А почему бы и нет? — подзавопил себя Артём, кусая хлеб. — Тут семь тысяч человек, разве им жалко, что один так и останется сидеть в своей келье? Разве остальные без меня не справятся?”

— Справятся, — ответил он себе вслух и рухнул на кровать. Выпростал из-под себя покрывало и влез под него с головой. Некоторое время в темноте доедал хлеб — это было новое, забавное ощущение. Кажется, даже в детстве он никогда не ел под одеялом.

Комроты, комвзводы, десятники и дневальные — все знали, что у Артёма особая работа и по утрам он отсыпается.

“Вот и отсыпаетесь!” — сказал себе Артём и действительно заснул.

...Пробуждение было обескураживающим: в келье хлопотливо разговаривала женщина, и точно не Галя — голос был старушечий, ласковый, торопливый.

Такого просто быть не могло. Артём резко сел на кровати.

— Ой, — испуганно вскрикнула женщина.

Она не была старухой — просто голос дребезжал от волнения; на вид ей было немногим больше пятидесяти, и выглядела женщина молодо. Высокий лоб и, как это Артём определил, длинные щёки сразу выдавали в ней, во-первых, интеллигентную особу, во-вторых, что самое важное, мать Осипа Троянского, который стоял здесь же, крайне недовольный присутствием Артёма.

— Это твой сосед? — спросила мать Троянского, одновременно улыбаясь Артёму, но с таким видом, словно на соседней кровати его сына спал странный зверь, вроде ондатры, который мог и не владеть человеческой речью.

— Несомненно, — сказал Троянский. — И он давно должен был найти себе другое место.

— Да, я хочу двухэтажную квартиру на Пречистенке, — ответил Артём, растирая кулаками скулы.

— Вы что, ссоритесь? — спросила мать по-прежнему испуганно.

Артёму даже жалко её стало, тем более что Троянский брезгливо не отвечал.

— Я Осипу всё время мешаю, — пояснил Артём, вполне добродушно. — И здесь я не к месту, и там, где мы работаем, я ему в тягость...

— Там, где мы работаем, — ответил Троянский, нажимая на “мы”. — А вот что вы там делаете, я так и не понял.

Артём посмотрел на мать: вот видите, я же вам объясняю.

Мать совершенно неожиданно приняла сторону Артёма.

— Осип, так нельзя, — сказала она очень твёрдо. — Нас теперь учат, что есть законы общежития, и тебе, видимо, некоторое время, пока всё не выяснилось, придётся их соблюдать.

Удивительно, но на Осипа это оказало воздействие, по крайней мере, в нём словно убавили температуру, и он продолжил заниматься тем, чем до сих пор занимался: перекладывать из материнских сумок продукты в свой ящик.

— Давайте лучше я вас покормлю, — предложила женщина. — Меня зовут Елизавета Аверьяновна, и у меня есть борщ — в Кеми исхитрилась сварить и довести сюда. Тут вот дневальный разогрел, я его за это яичком угостила.

“...А что, борщ же, — подумал Артём, лукаво объясняя себе свою утреннюю покладистость. — К тому же надо всё объяснить Троянскому про кроликов... а то ерунда какая-то...”

— А меня — Артём, — представился он и сбросил с себя покрывало, чем на мгновение смутил женщину — был бы казус, если б он назвал себя и, неожиданно распахнувшись, предстал голый из-под одеяла; но Артём спал одетым и даже в носках.

— Он и в поезде-то не хотел ездить никогда — там посторонние люди, а тут... — по-матерински просто пояснила Елизавета Аверьяновна Артёму поведение сына и обвела взглядом келью.

Артём тоже обвёл: да, мол, посторонние... толпятся...

Борщ между тем пах так, что Артём неизвестно на каких запасах воли сдерживался от желания схватить миску и выбежать с ней в коридор.

— Осип? — выжидательно спросила мама.

Троянский, наконец, задвинул ящик с утроившимися за утро запасами.

— Да, Артём, я прошу, — чинно сказал он, указывая на стол.

Артём с необычайной готовностью вновь уселся на свою лежанку, ближе к столику.

— Осип, я хочу открыться, — торжественно сказал Артём, глядя, впрочем, на борщ, где плавало лохматое мясо, куском в половину миски. — Одного кролика действительно забрали красноармейцы. Но другого задрал кот.

— Что же вы молчали! — всплеснул Осип руками. — Мы бы приняли меры! — он даже засмеялся, что вообще было ему несвойственно. — Этот жулик наловчился залезать через слуховое окно, представляете? Он сегодня ещё одного крольчонка задушил. Мы были готовы его убить! Но в нашей среде, к сожалению, никто не способен на это.

— Да о чём вы? — с улыбкой спросила Елизавета Аверьяновна и положила в борщ сметану.

Во рту Артёма сразу накопилось столько слюны, что он не смог говорить.

Первая же ложка ударила в голову так, словно Артём залпом выпил чудесной, пламенной, с царского стола водки, а потом сам царь жарко поцеловал его, скажем, в лоб.

Артём одновременно вспотел и стал полностью, до последней жилки, счастлив.

Счастье это желало длиться и длиться.

Этот борщ был не просто едой — он был постижением природы и самопостижением, продолжением рода и богоискательством, обретением покоя и восторженным ликованием всех человеческих сил, заключённых в горячем, расцветающем теле и бессмертной душе.

Они съели по три тарелки, пока бидон не опустел.

Несколько раз Артём едва не перекусил свою ложку.

Елизавета Аверьяновна тем временем достала из своих сумок халву — издающую тихий, сладкий запах, похожую на развалины буддистского храма, занесённого сахарной пылью.

Допив через край остатки борща и пальцами подцепив листик капусты, другой рукой Артём потянулся к халве, и Осип — со своей стороны — тоже.

Они в четыре руки разломали этот храм и немедленно стали поедать его осыпающиеся обломки. Артём чувствовал на губах соль, жир, липкую прелесть халвы, восторг, упоение.

После халвы они ещё съели по три пышных, сладострастных булки с домашним яблочным вареньем и, наконец, насытились.

— Как вы тут живёте, расскажите мне теперь, — вкрадчиво попросила Елизавета Аверьяновна: было видно, что вопросов у неё накопилось сто или даже тысяча, а она пока лишь один выложила.

— Вы бы сами хоть чего-нибудь поели, — вспомнил Артём. — Давайте я чайник вскипячу.

— Не надо, я термос принёс... — сказал Осип, доставая термос из своей сумки, раскрыл его, принохался: — Тёплый... Вполне.

— Он сам сделал термос, — похвалил Осипа Артём.

— Он всегда был выдумщик, — сказала Елизавета Аверьяновна, протирая кружки. — Ещё когда в гимназии...

— Здесь никогда не было глубокой жизни ума, — вдруг перебил её Осип. — Трудовая коммуна, хозяйствование — да. Христос являлся? Быть может. Но русская мысль тут всегда спала — одни валуны вокруг, какая ещё мысль. И Эйхманис эту мысль не разбудит: всё, чем он занимается, — кривляние.

Артём картинно поджал губы и внимательно оглядел дверь. Елизавета Аверьяновна с улыбкой посмотрела на сына, потом, уже переставая улыбаться, — на Артёма, и затем, уже с мольбой и печалью в глазах, — снова на Осипа.

— Но ты же работаешь, — сказала Елизавета Аверьяновна, — и очень успешно.

— Артём, знаете, что Соловки по форме похожи на Африку? — спросил Осип; видимо, у него шла какая-то непрерывная борьба с матерью, густо замешанная на обожании. — Не замечали? Соловки — вылитая Африка. А мы тут — чёрные большевистские рабы.

— Фёдор Иванович сегодня разговаривал со мной, — тихо, стараясь быть веселой и услышанной сыном, сказала мать, но обращаясь отчего-то к Артёму. — Фёдор Иванович говорит, что Осипу необходима командировка — с целью продолжения научной работы. И он готов отпустить его — под моё честное слово.

— Это мне нравится, — сразу же, как будто заранее придумав ответ, крайне язвительно воскликнул Троянский. — Здесь я на консервации. Работы, по сути, никакой. И вот меня, как мясную консерву, распечатают и скажут: “Птица, лети!” Я немного полетаю, потом вернусь, и меня опять закатают в консервы. Как прекрасно, мама.

“Зачем он злит свою мать, какой болван... Такой обед портит”, — ду- мал Артём, рассеянно улыбаясь.

Елизавета Аверьяновна изредка взглядывала на него и тоже словно пыталась улыбнуться, всё ожидая и никак не умея дожидаться, когда всё происходящее обратится в шутку.

— Мне тут давеча Эйхманис, — продолжал Троянский, похоже, испытывая удовольствие от своей, хоть и перед матерью, дерзости, — цитировал, не поверите, письмо Пушкина Жуковскому. Пушкин пишет... сейчас... — и Троянский пошевелил в воздухе пальцами, вспоминая, — “шутка эта пахнет каторгой. Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырём”. Знаете, зачем цитировал? Затем, что он искренне уверен, что спасает нас. Съеда — спасает!

И Троянский оглядел всех с таким видом, словно они должны были вот-вот захохотать, но вот отчего-то не захохотали.

К чаю так никто и не притрагивался. Он стоял на столе, холодный, без малейшего дымка.

— А лабиринты, Артём? — вдруг вспомнил Троянский. — Вы знаете, что здесь на нескольких островах выложены из камней лабиринты? Не большие, в человеческий рост, а маленькие, в один камень — даже кошке такой лабиринт будет мал. Я думаю, что этим лабиринтам очень много лет. Скорее всего — пятый век до нашей эры. Сначала их строили германцы, потом у них переняли лопари... не важно. Никто не знает их предназначения... Я предположил, что в центре лабиринта — захоронение. И выложенные камни — это сложные пути, чтоб душа покойного не могла выйти на волю.

Троянский ещё раз посмотрел на мать, но от неё понимания ждать было тщетно — она всего лишь женщина. Попытался найти интерес в лице Артёма, но Артём катал песчинку халвы на столе.

— Так вот, — решительно завершил Троянский. — Нынешние Соловки стали таким лабиринтом. Ни одна душа не должна выйти отсюда. Потому что мы — покойники. И вот мою упокоенную здесь душу вдруг выпускают из лабиринта. Добрейший Фёдор Иванович, радетель, попечитель и всемилостивец! Мама, ты ещё не заказала службу в его честь?

Елизавета Аверьяновна моргнула так, словно сын застал её за некрасивым делом, например, он вошёл в свою комнату, а она там читает его дневник.

Сын криво усмехнулся: всё ясно, мама, всё ясно.

— И вот, широко размахивая крыльями, я буду парить над материком, вдыхая полной грудью... — Троянский вдруг закашлялся, мать сделала движение, чтоб помочь ему, но он остановил её рукой: не надо! — Буду парить, — продолжал он, откашлявшись и чуть раскинув, как птица, руки, — а на ноге у меня будет длинная, в тысячу вёрст, незримая проволока. Едва возникнет желание — и меня на полуслове... или на полукрике — карк! — потащат назад.

— Я обращалась, Осип, во все инстанции, и пересмотр дела возможен, — снова тихо и внятно повторила мать.

— И главное, никому там не расскажешь, что здесь происходит, — говорил словно оглохший Троянский. — Я вроде бы птица, и как бы на воле, но клюв мне надо держать прикрытым. “Наелся, барчук, и начал изгаляться над матерью”, — с серьёзным раздражением подумал Артём.

— А я бы поведал, да. Или хотя бы перечислил, — прошептал Троянский уверенно и жёстко. — Собачья похлёбка! Каменные мешки! Они стреляют в нас! Они сажают нас в ледяные карцеры!

— Кто тебя сажал, что ты врёшь, — скривившись, неожиданно перебил его Артём, впервые перейдя на “ты” с Троянским. — Всем хочется рассказать про карцеры, где сами они ни разу не сидели, а про то, что здесь зэка бегают на оперетки, политические шляются по острову, а каэры ходят в цилиндрах и в лакированных башмаках, поедая мармелад, никто не расскажет. Мать пожалел бы.

Троянский раскрыл удивлённые глаза и с минуту смотрел на Артёма, даже не моргая.

— Плебей, — заключил он какую-то свою, длинную и витиеватую, мысль вслух. — Хам. И раб. Иди вон, там тебя покормят мармеладом с руки.

\* \* \*

Артём поспешил на улицу, чуть поглаживая руку, — он ударил Троянского в губы, как и хотел, того бросило назад так сильно, что показалось: сломалась шея! Голова мотнулась резко и безвольно, к тому же Осип ударился о каменную стену затылком. Мать ахнула, кто-то уронил бидон из-под борща, одновременно очень отчётливо на улице раздался выстрел, в ответ ещё несколько...

— Цо то бендзе, цо то бендзе, — повторял Артём, пытаясь вспомнить, откуда он запомнил эту фразу... Вспомнил: Митя Щелкачов рассказывал, что так он в детстве дразнил поляков, живших в соседней слободе. “Цо то бендзе” означало: “Что-то будет”.

Навстречу снизу, чудовищно громыхая, бежали красноармейцы, Артём прижался к стене, чтоб их пропустить, но, оказывается, спешили по его душу. С размаху, очень сильно его ударили в висок, тут же сгребли, сдирая кожу, за голову, и бросили вниз по ступеням:

— На улицу, шакал! Строиться на площади!

Артём покатился через голову, он распахал себе скулу о железные перила и, кажется, вывихнул руку.

“За что меня? За что?” — изо всех сил пытался понять он.

“Меня будут бить, убивать перед строем? Перед всеми? И Галину?” — с трудом поднимаясь и чувствуя кровь, текущую по лицу, спросил Артём.

Но внизу, у дверей, он заметил, что всех остальных, застигнутых в кельях, так же, с боем, с матерной бранью, уродуя и калеча, гнали на улицу.

На площади уже толпились заключённые — десятки... а вскоре — и сотни, тоже изгнанные из рот или согнанные с ближайших работ, из порта, с узкоколейки, из административных зданий, прачечных, кухонь, плотничьих и столярных мастерских. Несколько музыкантов с перепугу выбежали с трубами, один со скрипкой... Актёров выбили на улицу с репетиции чего-то исторического — Шлабуковский сначала стоял в короне, потом снял её и держал в руке, не зная, куда деть. Рядом с ним толпились пажи в смехотворных панталонах.

Пошёл дождь, и Шлабуковский, не думая, надел корону на голову — как будто она могла спасти от ливня.

Артём, исподлобья озираясь и держась в стороне от зверствующего конвоя и непрестанно охаживающих дрынами кого ни попадя десятников, занял место в битом строю. Он встал во второй ряд, который достать было сложней всего, потому что первый без конца ровняли кулаками и палками, а последние ряды столь же ретиво подбивали до искомого ранжира.

...Кто-то орал, кто-то плакал, кто-то выл, кто-то истерично спросил: “За что, начальник?”

Надо всем повис истеричный клёкот чаек — и сквозь этот клёкот, сквозь мерзейший человеческий мат, сквозь гай и рёв, сквозь беснующийся на соловейском дворе дождь Артём, наконец, расслышал самое главное:

— Мезерницкий стрелял в Эйхманиса!

“Он что, с ума сошёл? — не понял Артём. — Зачем?”

Тут же шёпотом, сипло, поворачивая чёрные, одинаково грязные головы, переспрашивали:

— Убил? Не убил?

Неясно было, чего больше в этом вопросе: тайной надежды на смерть Эйхманиса или, напротив, истового желания, чтобы всё обошлось, потому что смерть начлагеря означала, что погибнут все и немедленно.

“Как же я не заметил!..” — вдруг удивился Артём.

Мезерницкий лежал посреди площади мёртвый. Ему стреляли в лицо, потому что щеки у него не было, и потом стреляли в спину. Он лежал в луже крови, а неподалёку лаял Блэк, и не было ясно, кого он прогоняет: красноармейцев, лагерников, смерть...

Когда площадь уже была полна народа, в южные, Иорданские, всегда закрытые ворота прямо на коне влетел Эйхманис.

Красноармейцы сняли ружья с плеч, готовые к любому приказу.

Все смолкли.

Земля бурлыкала пузырями, словно вскипая.

Дождь сделал ещё круг и ушёл куда-то под красные крыши, намотался на зелёный шпиль Преображенского собора...

Только чайки вскрикивали и непрестанно сыпали сверху на строй помёт. Никто не вытирался.

— На колени! — в бледной ярости вскрикнул Эйхманис и выхватил шапку из ножен.

Строй повалился так, словно всем разом подрезали сухожилия — несколько тысяч сухожилий одной беспощадной бритвой.

На коленях стояли священники, крестьяне, конокрады, проститутки, Митя Щелкачов, донские казаки, яицкие казаки, терские казаки, Кучерава, муллы, рыбаки, Граков, карманники, нэпманы, мастеровые, Френкель, домушники, взломщики, Ксива, равнины, поморы, дворяне, актёры, поэт Афанасьев, художник Браз, скупщики краденого, купцы, фабриканты, Жабра, анархисты, баптисты, контрабандисты, канцеляристы, Моисей Соломонович, содержатели притонов, осколки царской фамилии, пастухи, огородники, возчики, конники, пекари, проштрафившиеся чекисты, чеченцы, чудь, Шафербеков, Виоляр и его грузинская княжна, доктор Али, медсёстры, музыканты, грузчики, трудники, кустари, ксёндзы, беспризорники — все.

Эйхманис был в одной рубахе и, похоже, не мёрз, хотя от земли шёл ледяной пар, и в строю многие стучали зубами, не в силах сдержаться, и держались руками за землю, будто в неустанной морской качке.

Артём успел заметить, что Троянский не пожелал падать на колени и тут же получил прикладом по затылку... Теперь он валялся на животе, за строем... Где осталась его мать, было непонятно.

Бурцев тоже встал на колени и стоял строго, чинно, полужакрыв глаза, как на присяге.

“Ну, и кто теперь клоун?” — подумал, прерывисто дыша, Артём, переведя взгляд с Бурцева на Мезерницкого...

Сам Артём и не заметил, как встал на колени.

И только спустя минуту вдруг понял, что и он тоже, вместе со всеми, стоит здесь, облизывая дождь с губ, желающий только одного — жизни.

Хотя одно удивительное чувство жило в нём: что все, стоящие сейчас на коленях, стоят за дело, и лишь он один — за так, просто не желает послушаться и готов разделить общую вину.

Ничего не произнося, Эйхманис пролетел — свирепый, с обнажённой шашкой — вдоль рядов.

Конь под ним ликовал и всхрапывал.

Страх, распространяемый его движением, был вещественный, почти зримый: этот страх можно было резать кусками, вместе с людьми.

Чайки уже не просто кричали, а дразнились то человеческими, то звериными голосами.

Блэк узнал понятную ему речь и вдруг с бешенством залаял в ответ, а чайки залаяли на него.

Эйхманис рубанул шашкой невидимую цепь — и в тот же миг, раскрутившись со шпиля, зайдя по-над головами, посыпал крупный, как ягода, дождь.

— Рассатанился, — прошептал кто-то рядом с Артёмом.

Кажется, это был голос владычки.

Артём попытался поднять глаза, чтоб посмотреть вверх.

Тяжёлая капля ударила ему ровно в глазное яблоко.